

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт философии и права Сибирского отделения
Российской академии наук

На правах рукописи



Аникина Александра Борисовна

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ В ТРУДАХ ПОЛЯ РИКЁРА

09.00.03 – История философии

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Научный руководитель
доктор философских наук, профессор
Афонасин Евгений Васильевич

Новосибирск – 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. Память как онтологическое основание истории.....	25
1.1. Феноменология памяти.....	26
1.2. Забвение.....	38
1.2.1. Забвение как резерв памяти.....	39
1.2.2. Время и сохранение следов.....	45
1.2.3. О возможности сохранения аффективных следов	50
1.3. Воспоминание и воображение.....	56
1.3.1. Два модуса воображения: ирреализирующий и визирующий.....	57
1.3.2. Различение двух модусов воображения.....	61
ГЛАВА 2. История как наука и рассказ о прошлом.....	67
2.1. Память как матрица истории.....	68
2.1.1. Наследственность репрезентативной проблематики.....	69
2.1.2. Репрезентативный импульс памяти.....	75
2.1.3. Неустранимость репрезентативной проблематики и временной дистанции.....	84
2.1.4. Нарративная структура события в памяти и в истории.....	92
2.2. История как соперница памяти.....	96
2.2.1. История как опора ненадежной памяти.....	98
2.2.2. Память как соперница истории.....	103
2.3. История как научная наследница памяти.....	117
2.3.1. Историографическая процедура.....	119
2.3.2. Нарратив как элемент историографической процедуры.....	122
2.3.3. Проблема произвольности смысла нарратива.....	129
2.3.4. Функция разрыва. Репрезентирование.....	136
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	142
Список использованной литературы.....	146

ВВЕДЕНИЕ

...В этой Империи Искусство Картографии достигло такого Совершенства, что Карта одной Провинции занимала целый Город, а Карта Империи – целую Провинцию. Со временем эти Несоразмерные Карты перестали удовлетворять, и Коллегия Картографов начертила Карту Империи, имевшую размер Империи и точнейшим образом совпадавшую с ней.

Хорхе Луис Борхес

Актуальность темы исследования

Во второй половине XX века историческая наука претерпела решительный критический натиск, что привело к существенному пересмотру ее онтологических и методологических оснований. Несмотря на интенсивное осмысление новой ситуации «пост-постмодерна» и значительное продвижение в этом направлении, определенная напряженность в области теории истории еще сохраняется. Это связано с рядом сложных вопросов.

Во-первых, критика со стороны сторонников постмодернизма и «лингвистический поворот» поставили серьезную проблему: объект исторического познания предстал как то, что конструируется языковой и дискурсивной практикой, тем самым, и источник, и конечный труд историка оказались результатом художественной деятельности. Таким образом, выстраивалась концепция, согласно которой история практически неотличима от вымысла. Противостояние этой концепции стало одной из важнейших задач теоретиков исторического познания.

Хотя за последние тридцать лет многие проблемы, поставленные лингвистическим поворотом, уже были так или иначе переосмыслены,

определенная теоретическая «напряженность» все еще ощущается среди философски настроенных гуманитариев. Например, Георг Иггерс, историк и теоретик историописания, так сформулировал актуальную повестку для исторического познания: «Сегодня задача состоит в том, чтобы найти такое решение в рамках исторической теории, которое соединило бы модернистское представление об "истине" и постмодернистскую приверженность "интерпретации", чтобы осознать литературность исторических изысканий и, тем не менее, не свести их полностью к вымышленности» [Iggers, 2009. p. 125] Несмотря на то, что решением этой проблемы теоретики истории занимались уже последние 20-30 лет, «...мы все еще только начинаем вести адекватные дискуссии об эпистемологических и методологических вопросах "новой теории истории"...» [Там же. p. 128] – так Георг Иггерс заключил свою обзорную статью о поиске «пост-постмодернистской теории истории».

Другим важным фактором, проблематизирующим теоретическое осмысление исторической науки является изменение роли самой истории в ее взаимодействии с обществом. С одной стороны, в обществе возросла потребность в знании о прошлом, в осмыслении современных процессов в их исторической ретроспективе. Но с другой стороны, стремление удовлетворить эту потребность за счет именно научных трудов о прошлом совсем не так велико, скорее в обществе есть склонность прибегать к псевдоисторическому, псевдонаучному знанию [Мазурель, 2014. с. 120].

С этой ситуацией связано и существенное расширение круга акторов, уполномоченных говорить об истории. К историку здесь присоединяются журналист, судья (Ревель, Артог), государственный чиновник, не считая писателей, кинорежиссеров и, наконец, разного рода шарлатанов, которым новые средства коммуникации дают широкие возможности для распространения своего «творчества».

Кроме того, для России и ряда других стран актуальной проблемой является идея «заикливания» истории, возвращение к прошлому, взаимосвязанная с трудностями трансформации государственных и

общественных институтов. Здесь же стоит упомянуть о том, что российское государство вновь осознает себя субъектом исторической политики и политики памяти и недвусмысленно ожидает от исторического научного сообщества политически «верных» ответов, касающихся прошлого.

В отечественной науке также назрела насущная необходимость переосмысления теоретических проблем. Известный историк и специалист по теории истории Лорина Петровна Репина сформулировала проблемы историографии следующим образом: «сохранение за ремеслом историка достойного общественного статуса невозможно без осмысления всех последствий "методологических поворотов", создания новых теоретических моделей и восстановления синтезирующего потенциала исторического знания на новом уровне» [Репина, 2011. с. 134].

В контексте вышеописанной ситуации мы полагаем, что внимательное изучение идей французского философа Поля Рикёра (1913–2005) может быть весьма актуальным, так как способно продвинуть теорию истории в решении данных проблем. Для этого у нас есть следующие основания.

Фигура Рикёра во многом уникальна, но особенно в двух отношениях.

Во-первых, будучи философом континентальной традиции, он долгое время преподавал в американских университетах, где познакомился с англо-американской философией и в своих сочинениях попытался объединить обе традиции для достижения наилучшего результата. Рикёр стремился показать, что то, что обе эти традиции говорят по-разному о многих вещах – это не столько противоречие, сколько взаимное дополнение, компенсирующее недостатки друг друга. Взгляды Рикёра в целом отличает стремление «осуществить “герменевтический синтез” главных достижений западной философской мысли в исследовании сознания и культуры» [Зотов, 2005. с. 756]. Помимо вышеозначенного сочетания аналитического и континентального подходов это стремление выражается в объединении феноменологии и герменевтики, экзистенциализма и персонализма. Широчайший кругозор мыслителя и его проницательность позволили реализовать такой подход на

самом высоком уровне.

Во-вторых, Рикёр – один из немногих теоретиков истории, кто действительно интересовался трудами и концепциями самих историков. Наряду с ведущими французскими историками, с которыми он регулярно общался, Рикёр публиковался в известном журнале «Анналы», его имя нередко фигурирует в контексте понятия «школа Анналов» (см. «Анналы на рубеже веков. Антология»). Свою книгу «Время и рассказ» он во многом адресовал историкам. Хотя Рикёр и не является историком, его произведения демонстрируют глубокое знакомство как с процессом исторического познания, так и с трудами ученых-историков.

Таким образом, вопросы, связанные с историей, Рикёр рассматривает в широком интеллектуальном контексте, что позволяет ему подпитывать свою концепцию из разнообразных источников, синтезируя их в масштабную теорию, что делает его идеи особенно значимыми.

Кроме этого, отметим еще несколько важных причин.

В отношении исторической науки Рикёр уделил большое внимание решению проблемы отличия истории от вымысла. Но решение этой проблемы Рикёр ищет в комплексе с другими значимыми для истории вопросами, такими как отношения памяти и истории, ответственность акторов истории и самих историков. Его идеи в этом направлении также отличает стремление соединить аналитический и континентальный подходы, что позволяет ему отвечать на критику с обеих сторон.

Немаловажно, что Рикёр рассматривает историю не только как область знаний, но и как способ человеческого бытия, в первую очередь бытия социального, что позволяет переосмыслить и роль истории для общества, и сами основания исторической науки.

Однако несмотря на весьма значительный интерес ученых к наследию Поля Рикёра, его концепция истории остается мало изученной как в отечественной, так и в зарубежной науке. С одной стороны, это объясняется тем, что обобщение этой концепции ученый предпринял уже в позднем своем

труде «Память, история, забвение», вышедшем в 2000 году. С другой стороны, вероятно, это связано с тем, что широта философских взглядов Поля Рикёра, обилие привлекаемого им материала затрудняют выделение концепции исторического познания из других его трудов. Тем не менее, Поль Рикёр является одной из значительнейших фигур в философии второй половины XX века, и мы считаем, что всестороннее изучение и осмысление его интеллектуального наследия очень важно для дальнейшего развития и прогресса гуманитарных наук и научной мысли в целом.

Именно синтетическая направленность мысли французского философа представляется залогом объединения двух противоположных интенций: истории, как репрезентации того, что было на самом деле, и истории, как плода мысли историка. В своих подробных и многоплановых трудах Рикёр коснулся многих проблем современной историографии, в том числе и проблемы соединения литературности истории с достоверностью. Таким образом, мы полагаем, что экспликация и внимательное исследование концепции истории и исторического познания в трудах французского философа Поля Рикёра поможет нам продвинуться в решении актуальных проблем, стоящих перед современной исторической наукой и гуманитарным познанием в целом.

Современное состояние исследований

Труды Поля Рикёра, благодаря своей значимости и широте охвата проблем вызывают большой интерес ученых-гуманитариев. Однако работы, ориентированные на использование теоретического потенциала феноменологической герменевтики Рикёра для решения теоретико-методологических задач исторического познания довольно малочисленны, особенно в российской академической литературе. Релевантные для нашего исследования работы можно разделить на две группы. В первую входят работы, посвященные в целом философскому наследию Рикёра или какому-либо аспекту его творчества. Во вторую входят работы, посвященные теоретическому осмыслению истории, но обращающиеся при этом к идеям французского философа.

В первой группе можно отметить следующие работы.

Среди зарубежных работ заслуживает упоминания «Критическая герменевтика» Дж. Томпсона (John Thompson Critical Hermeneutics, 1981), в которой автор предпринимает попытку разработать способы критически и рационально проверяемой интерпретации человеческих действий в социальных науках с опорой в значительной степени, на идеи Рикёра и Хабермаса. Это, уже довольно давнее начинание продолжает исследование Д.М. Каплана в работе «Критическая теория Рикёра» (D. M. Caplan Ricoeur's Critical Theory, 2003), посвященной «критическому измерению» философии Рикёра. Опираясь на последние работы французского философа Каплан показывает как он продвигает далее традицию критической философии. Но, хотя книга Каплана вышла уже после первой публикации «Памяти, истории, забвения», он еще не ссылается на эту работу.

Замечательное собрание статей представлено в книге «Философия Поля Рикёра» (Philosophy of Paul Ricoeur, 1995). Это чрезвычайно интересное издание, включающее интеллектуальную автобиографию Рикёра, и его комментарии к вошедшим в сборник статьям. Главными темами, к которым обращается большинство авторов сборника являются герменевтика Рикёра, вопросы интерпретации социального действия, теория метафоры, несколько статей посвящено теории повествования. Указанное исследование было опубликовано еще при жизни Рикёра, поэтому в нем отсутствуют комментарии многих известных работ французского мыслителя, написанных им в последние годы творческой деятельности.

Другим коллективным трудом, сосредоточенным на теории нарратива является интересный сборник «Полю Рикёр и нарратив: контекст и полемика» (Paul Ricoeur and Narrative: Context and Contestation, 1997). Статьи сборника группируются в основном вокруг трех тем: терапевтические функции нарратива (рассматриваемые в основном с позиций психоанализа), роль нарратива в формировании социальной и политической идентичности и различные приложения теории нарратива. Вопросы формирования идентичности

преломляются весьма разнообразным образом от конфигурации идентичности в позднесредневековых женских манускриптах до противоречия между индивидуальной и политической идентичностями. Неожиданные приложения теории нарратива находит в архитектуре, через сопоставление архитектуры как метафоры пространства и нарратива как метафоры времени. Можно сказать, что статьи сборника посвящены не столько исследованию нарратива в творчестве Рикёра, сколько приложению и развитию его теории нарратива к различным другим сферам.

Наибольший интерес исследователей вызывает герменевтическая теория Рикёра и ее , этим темам посвящено множество работ. Помимо вышеуказанного сборника, можно отметить еще ряд книг, например, П.Л. Буржуа «Расширение герменевтики Рикёра» (Bourgeois, P.L. Extension of Ricoeur's Hermeneutic, 1975), Дж. Сенсо «Герменевтика и дискурс истины. Изучение работ Хайдеггера, Гадамера и Рикёра» (Censo J. Di. Hermeneutics and Discourse of Truth. A Study in the Work of Heidegger, Gadamer and Ricoeur, 1990), Д. Стивенс «Теология после Рикёра: новые направления в герменевтической теологии» (Dan R. Stiver Theology after Ricoeur: new directions in hermeneutical theology, 2001), А. Скотт-Бауман «Рикёр и герменевтика подозрения» (A. Scott-Baumann Ricoeur and the Hermeneutics of Suspicion, 2009), Б.К. Уггла «Рикёр, герменевтика и глобализация» (Ugglá, B.K. Ricoeur, Hermeneutics and Globalization, 2010).

Интересной работой, достаточно кратко обобщающей наследие Рикёр является книга Карла Симса (K. Simms Paul Ricoeur, 2003), выстроенная в соответствии с темами, к которым обращался французский мыслитель: отдельные разделы посвящены проблеме добра и зла, герменевтике, психоанализу, метафоре, рассказу, этике, политике и справедливости. Симс проясняет ключевые понятия в творчестве Рикёра, обсуждает значение его идей для современной философии и критического мышления. Тем не менее, в его книге нет раздела, посвященного идеям исторического познания у Рикёра, возможно потому, что к моменту выхода книги Симмса обобщающий труд Рикёра об историческом познании еще не был переведен на английский язык.

Ричард Керни в книге «О Поле Рикёра: Сова Минервы» (Kearney R. *On Paul Ricoeur: the Owl of Minerva*, 2004) акцентирует внимание на посреднической функции философии Рикёра, одна из задач которой состоит в выявлении общего основания в различных областях человеческого познания.

В книге Марии Дюффи «Педагогика Рикёра: нарративная теория памяти и забвения» (Maria Duffy, *Ricoeur's Pedagogy of Pardon: A Narrative Theory of Memory and Forgetting*, 2009) автор обращается в первую очередь к концепции прощения и примирения в трудах Рикёра. Дюффи исследует возможности приложения идей Рикёра к практике, но не исторических исследований, а скорее, социальной жизни: преодоления последствий жестокости, примирения враждующих групп общества. Работа Дюффи еще раз подтверждает практическую значимость идей Рикёра.

Конечно, большое внимание уделяется наследию Поля Рикёра во Франции. Стоит отметить коллективную работу французских исследователей «Рикёр и гуманитарные науки» (2007). В ней рассматривается широкий круг тем: интерес Рикёра к психоанализу, его размышления о языке, об истории литературы, когнитивных науках, приложение идей Рикёра к проблемам урбанизации и культурных конфликтов. Что касается познания прошлого, то в этом сборнике представлены две близкие темы: влияние Рикёра на развитие школы «Анналов», что, безусловно, является важным вопросом для французской историографии, и приложение идей Рикёра к исследованию «войн памяти».

Одним из крупнейших исследователей наследия Рикёра во Франции является Франсуа Досс, посвятивший философу книгу «Поль Рикёр: значения одной жизни» [Dossse 2008]. Он отмечает, что создание Рикёром герменевтики исторического времени «открывает горизонт не только для научных исследований, но и для человеческой деятельности, для установления диалога между поколениями, для воздействия на настоящее». Еще при жизни философа было издано несколько трудов, сопоставляющих его концепцию с идеями Ж. Делеза, Ю. Хабермаса, Ж. Деррида.

В 2015 году вышел новый, интересный и разнообразный по охвату тем в творчестве Рикёра коллективный труд «Полю Рикёр в эпоху герменевтического разума: поэтика, практика и критика» (Paul Ricœur in the Age of Hermeneutical Reason: Poetics, Praxis, and Critique. Lexington Books, 2015). В центре рассмотрения этого сборника проблема справедливого у Рикёра, понятие аттестации, нарративная идентичность, философская антропология Рикёра и его концепция «человека способного».

Первое в отечественной литературе коллективное исследование философского творчества Поля Рикёра вышло в свет в 2008 году под названием «Полю Рикёр – философ диалога». В основу этого издания были положены материалы проведенной в мае 2006 года в Институте Философии РАН теоретической конференции, посвященной памяти французского мыслителя. В книге представлены статьи И.С. Вдовиной, И. И. Блауберг, М. Кастийо, О.И. Мачульской, Н.В. Мотрошиловой, А. В. Павлова, Е.В. Петровской, Е.Н. Шульга, посвященные проблемам этики и морали в учении Рикёра, его историко-философской концепции, анализу времени, памяти и повествовательной деятельности человека, интерпретации как основе деятельности человека в истории, роли переводческой деятельности в духовном общении культур.

В отечественной науке самым авторитетным исследователем Рикёра является Ирена Сергеевна Вдовина, переводчик ряда его работ и автор множества статей о нем. Ею написаны разделы о Рикёре в нескольких обзорных монографиях, в частности в ее книге «Феноменология во Франции» [Вдовина 2009], в которых дается целостное представление о специфике философского учения П. Рикёра и его методологического подхода. Она выделяет понятие воли как способности к деятельности в качестве одного из центральных для философии Рикёра [Вдовина 2004]. На этом понятии строится дальнейшее понимание культуры как системы символов: именно воля, стремящаяся к действию, прорывает замкнутость этой системы в направлении бытия. Это дает нам ключ к пониманию специфики референциальности в сфере исторических наук.

Особо следует отметить статью И.С. Вдовиной «Словарь Поля Рикёра» [Вдовина 2012], где в сжатом, обзорном виде дается, тем не менее, комплексная характеристика философии Рикёра. Через анализ ключевых понятий французского философа показывается все сложность, комплексность и всеохватность его философской концепции: «Учение Рикёра стоит в центре «современного момента» (Ф. Вормс) философии, сосредотачивая внимание на проблемах человека, справедливости и жизни и выдвигая на первое место этические вопросы» [Там же. с. 117]. В других обзорных трудах также подчеркивается в первую очередь интегративная черта философии Рикёра, его способность предложить «позитивную программу нового синтеза философии» [Зотов 2005. с. 761].

Плодотворно идеями Рикёра в контексте социального познания занимается А.В. Борисенкова, защитившая кандидатскую диссертацию по теме «Методология социального познания в трактовке Поля Рикёра» (2011). В своей работе Борисенкова с позиций методологии социальных исследований рассматривает концепцию социального действия Рикёра, нарратив и вписанное в него событие и социальную онтологию Рикёра и приходит к выводу, что работы французского философа могут быть плодотворным источником для теоретических и методологических разработок социологии.

В России в 2015 году также вышла коллективная работа, посвященная наследию французского мыслителя под названием «Поль Рикёр: человек – общество – цивилизация». В этом сборнике приняли участие не только видные российские исследователи, но и зарубежные специалисты. Здесь поднимается множество самых разнообразных аспектов в философии Рикёра. Отличительной чертой этого сборника (именно в контексте рассматриваемой диссертантом темы) можно считать то, что в нем начинают подниматься вопросы, близкие к теории исторического познания. Стоит отметить в этом отношении статью Н.В. Матрошиловой «Поль Рикёр: истина истории и цивилизация». Однако, хотя в статье раскрываются представления Рикёр об истине в истории, вопрос о том, как именно она возможна, не поднимается

вовсе. Отдельные аспекты концепции истории Рикёра рассматриваются в статьях А.А. Мёдовой «Интрига времени: вслед за Рикёром и Августином», Б.Л. Губман «Гадамер и Рикёр: исторический опыт и нарратив», О.В. Поповой: «Долг памяти и кризис свидетельства: Поль Рикёр и Примо Леви». Эти работы показывают, что интерес исследователей к взглядам Рикёра на историю только пробуждается, появляются отдельные плодотворные исследования, но целостное представление о его концепции пока еще не сформировано.

Отдельные аспекты философского мировоззрения Рикёра (онтологические, гносеологические, методологические, социально-антропологические, аксиологические, социологические) представлены в работах Л.А. Клименковой, А.Ф. Зотова, В.В. Старовойтова, Е.Ф. Тихонова, А.В. Борисенковой, А.Д. Мазылу, И.В. Рязанова, Г. Шпильберга., Е. Шульга, В.Б. Огорокова, Е.В. Петровской.

Во второй группе, работ, посвященных теоретическому осмыслению проблем исторического познания, можно отметить следующие.

Из работ, посвященных теоретическому осмыслению истории и памяти особо следует отметить работы Л.П. Репиной. В своих работах Репина обращается к идеям Рикёра, соглашаясь с ним в том, что история является одним из главных каналов передачи опыта, а так же важнейшей составляющей самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом. Разделяемые образы исторического прошлого являются таким типом памяти, который имеет особенное значение для конституирования и интеграции социальных групп.

Для зарубежных исследователей истории и памяти Рикёр также является важным теоретическим источником. В пример можно привести известную исследовательницу исторической памяти А. Ассман, которая опирается на позицию Рикёра о том, что историк не может и не должен пренебрегать личными воспоминаниями, в противном случае «его исследование превратится в абстракцию, столь же оторванную от того, что тогда переживалось людьми, сколь и от возможности восстановить их для субъективного сопереживания

сегодня [Ассман 2014].

Польский исследователь В. Вжозек строит собственную концепцию исторического познания на базе «культурного фундаментализма» (утверждающего, что ничего нет вне культуры) в значительной мере с опорой на труды Рикёра, в особенности, его концепции метафоры. Полемизируя с Рикёром в отдельных аспектах функционирования истории в обществе, Вжозек принимает идею о репрезентировании историей прошлого и называет его представления об истине в истории «метафорической истиной». Концепция Вжозека является интересным и актуальным приложением идей Рикёра, но в своих трудах польский автор не обращается к философским основам его идей.

К идеям Рикёра обращается в своих исследованиях молодой, но уже громко заявивший о себе очень дискуссионной книгой «История – это современная литература» французский исследователь Иван Жаблонка (Jablonka I. *L'histoire est une littérature contemporaine*, 2014). Его взгляды интересны тем, что Жаблонка и сам является историком, но в отличие от своих коллег, с негодованием относящихся к подозрениям в привлечении фантазии и вымысла к своим трудам, Жаблонка, с опорой на идеи Рикёра, Серто, Вена доказывает, что история только выигрывает от сотрудничества с литературой. Книгу Жаблонки можно рассматривать как одну из первых попыток теории историографии, построенной на идеях Рикёра и на близких к ним основаниях, но как нам кажется, французский историк недооценивает те ограничения, которые концепция Рикёра накладывает на работу воображения, чем и вызвано преувеличение роли литературы для истории. Все это показывает, что концепция исторического познания Рикёр требует целостного изучения, а использование только отдельных ее аспектов может вводить в заблуждение.

Таким образом, можно сказать, что исследуемый нами аспект интеллектуального наследия философа пока не получил соответствующего осмысления и анализа в качестве целостной концепции. Уже сделаны первые шаги в этом направлении, разрабатываются отдельные ее аспекты и составляющие: теория интерпретации, нарративная идентичность, нарративная

конфигурация времени. Тем не менее, остается потребность в целостном подходе к концепции исторического познания Рикёра и экспликации его именно для историков. Такая потребность и задача была также озвучена В. Вжозеком в ходе дискуссии на прошедшей в октябре 2016 года в Москве конференции «История, память, идентичность».

Из вышеприведенного обзора можно заключить, что хотя интерес к наследию Рикёра не ослабевает как у него на родине, так и в мировой историко-философской науке, но все еще остается немало тем и проблем, которые заслуживают более пристального внимания. К таковым, несомненно, относится и тема, которой посвящена настоящая работа.

Объект и предмет исследования

Объектом диссертационного исследования являются философские взгляды Поля Рикёра на историю как неотъемлемое измерение человеческого опыта.

Предметом исследования является концепция памяти как матрицы истории и источник репрезентативной проблематики, а также диалектические отношения между историей и памятью, рассмотренные в историко-философском контексте.

Цель исследования

Целью данной работы является экспликация концепции истории как репрезентации прошлого на основе трудов П. Рикёра и главным образом выявление и анализ оснований, на которых он утверждает возможность достоверного исторического познания.

Для достижения данной цели в ходе исследования решаются следующие **задачи**:

- проанализировать представления Рикёра о памяти с целью выявить те ее свойства и особенности, которые позволяют последней стать онтологическим основанием его концепции исторического познания;

- прояснить суть репрезентативной проблематики в философской мысли Рикера;

- выявить специфику репрезентации прошлого в сфере памяти и в сфере исторического познания;
- прояснить взгляды Рикёра на роль нарратива в истории возможность представления достоверных интерпретаций прошлого в рамках исторического нарратива;
- определить основания исторической интенциональности, благодаря которым история становится достоверной репрезентацией прошлого в отличие от вымысла;
- проанализировать возможности применения концепции П. Рикёра и ее значение для решения актуальных проблем современной общественной и исторической мысли.

Теоретические и методологические основы исследования

Базовым методом диссертации является историко-философская реконструкция, подразумевающая описание идей и теорий, поиск их методологических оснований, их интерпретацию и критический анализ. В работе используются общие методы историко-философского исследования: комплексный подход к изучению философских теорий, сравнительно-исторические методы.

Специфика объекта исследования также требует привлечения аналитического метода и текстуального анализа. Аналитический метод предполагает экспликацию отдельных элементов общего корпуса взглядов Рикёра. Текстуальный анализ работ французского мыслителя дает документальную основу для сопоставления различных элементов теории Рикёра и последующего объединения их в единую концепцию.

Одной из методологических установок исследования является его полидисциплинарность и стремление к синтезу различных подходов. Возможность такого синтеза наглядно демонстрируют труды самого П. Рикёра. Можно говорить о принципе методологического плюрализма, так как поставленная задача требует обращения к инструментарию семиотики и

нарратологии в сочетании с феноменологическим и герменевтическим подходом.

Кроме того, автор диссертации опирается на принцип методологического единства, подразумевающий, что познавательный процесс имеет единую теоретическую и методологическую структуру, что в том числе и обосновывает возможность всестороннего взаимодействия различных видов человеческого познания (философии, естественных и социальных наук, исторической науки). Поэтому признавая специфику того или иного вида познания, нельзя принять тезис об их абсолютном предметном или методологическом различии.

История в исследовании понимается в трех основных смыслах: 1) как имевшие место в реальности события прошлого и люди с их разнообразным жизненным опытом; 2) как наука, исследующая эти события и опыт; 3) как современные представления о событиях и людях прошлого, изложенные в текстах и рассказах, то есть, по большей части, в нарративной форме. Постоянное взаимодействие трех этих смыслов является важным принципом исследования, при этом множественность исторических рассказов не подразумевает множественности прошлого. События произошли единственным способом, но понимались разными субъектами по-разному, что определяет множественность рассказов о них.

Для данного исследования также важным методологическим допущением является гипотеза, лежащая в основе когнитивных наук, об инвариантности устройства человеческого интеллекта, подразумевающая, что все люди обладают потребностью в постижении смысла явлений окружающего мира и собственной жизни и в той или иной мере имеют заложенную способность к этому. Но сам этот смысл и способы его конструирования исторически и культурно обусловлены, так что они могут быть общими для представителей одной культуры, но радикально отличаться от другой или этой же культуры в другой период времени.

Научная новизна исследования:

1. Впервые в отечественной и зарубежной научной литературе

предпринята попытка эксплицировать и проанализировать основания достоверности исторического познания в концепции видного французского философа Поля Рикёра.

2. Проанализированы представления Рикёра о памяти и выявлены свойства, из которых Рикёр выводит ее способность быть онтологическим основанием исторического познания и обеспечивать достоверную репрезентацию прошлого опыта.

3. Выявлена особенность репрезентативной проблематики в концепции Рикёра, свойственная как истории, так и памяти.

4. Доказана конституирующая для исторической науки роль различия между двумя образами – уже отсутствующим, но имевшим место в прошлом, и все еще сохраняющимся в виде следов.

5. Представлена интерпретация концепции нарратива Рикёра, позволяющая обосновать синтезирующий потенциал теории Рикёра и претензии исторических рассказов на достоверность, несмотря на их утверждаемую субъективность.

6. Определены условия, из которых Рикёр выводит возможность преобладания исторической интенциональности над иррационализирующей функцией воображения, на которое неизбежно опирается историк.

7. На основе анализа теоретических положений Рикёра, исследован ряд конкретных проблем теории истории, таких как референциальность исторического дискурса, произвольность смысла исторических нарративов, противоречие между научно-исторической и мемориально-ориентированной трактовкой прошлого. Дана оценка взглядов Рикёра на взаимосвязь истории и памяти исходя из сопоставления его представлений с достижениями нейронаук и актуальной проблематикой использования в обществе представлений о прошлом. Определено значение концепции Поля Рикёра для современных дискуссий в исторической науке.

Положения, выносимые на защиту:

Выносимые на защиту положения представляют собой результаты

реконструкции диссертантом концепции исторического познания Поля Рикёра и интерпретации его утверждений в контексте современных дискуссий исторической науки. Главным авторским положением диссертанта, выносимым на защиту, является утверждение, что выявленные составляющие концепции истории как репрезентирования прошлого, предложенной Рикёром, позволяют полагать, что данная концепция может служить теоретическим обоснованием нацеленности истории на истину в условиях понимания ее обусловленности языком, нарративными конструкциями, дискурсивными практиками и необходимостью интерпретации человеческих действий и их следов. Это главное положение обусловлено следующими утверждениями:

1. В данной работе предложен целостный взгляд на основания концепции истории в философии Поля Рикёра. К таким основаниям можно отнести: 1) убежденность Рикёра в сохранении не только материальных, но и аффективных следов; 2) вытекающее из этой убежденности представление об онтологическом первенстве свойства «некогда быть» по отношению к свойству «миновать, исчезнуть» и связанное с этим представлением отношение к забвению, как к особому имемориальному ресурсу; 3) способность памяти обращаться к этому ресурсу с помощью рефлексивных усилий по реконструированию образовоспоминания прошлого и удостоверить их результат в модусе узнавания; 4) обосновываемая Рикёром укорененность истории в индивидуальной памяти; 5) выявленная Рикёром специфика референциальности исторического дискурса, состоящая в исторической интенциональности историка как ответственного человека, удостоверяемой критическими процедурами истории.

2. На основе анализа представлений Рикёра о памяти выделяются следующие ее свойства, обосновывающие онтологическую возможность достоверного исторического познания: во-первых, многообразие феноменов памяти, из которых приоритетным Рикёр считает событие; во-вторых, рефлексивность усилия памяти по разысканию воспоминания; в-третьих, утверждение забвения как особой формы сохранения следов; в-четвертых, способность памяти распознавать обазы, как принадлежащие прошлому, в-

пятых, возможность атрибуции воспоминаний коллективным субъектам. Суть взаимосвязи истории и памяти в концепции Рикёра, состоит в том, что история в полной мере наследует от памяти репрезентативную проблематику воссоздания в настоящем образа отсутствующего прошлого, сохраняя при этом автономию от памяти в способах преодоления этого разрыва. А именно, память как матрица истории передает последней проблематику репрезентации как «присутствия того, что отсутствует»; придает истории репрезентативный импульс посредством свидетельства; вносит парадигму дистанции и усилия рефлексивной памяти по разысканию воспоминания; передает истории нарративную структуру, артикулирующую событие.

3. Утверждается, что специфика репрезентативной проблематики в концепции Рикёра состоит в том, что присутствующий образ отсутствующей вещи распадается на два образа: воспринятый образ вещи, в целом уже отсутствующий, но сохраняющийся в виде следов (аффективных, кортикальных или материальных), и присутствующий репрезентативный образ, сконструированный на основе этих сохранившихся следов. Установление отношений между этими двумя образами обуславливают работу памяти и работу истории.

4. Неустранимость инаковости между двумя образами прошлого – некогда бывшего и сохранившегося в виде следов – определяет статус истории не столько как репрезентацию прошлого, но как непрерывное *репрезентирование* прошлого с учетом постоянно изменяющихся вопросов и обновляющихся следов. В этом пункте история порывает с памятью, которая нуждается в уверенности, в утверждении однозначного соответствия двух образов для сохранения идентичности субъекта. Причины, по которым Рикёр придает особое значение независимости истории от памяти и взаимной дополнительности между ними для эффективного выполнения функций обеих по репрезентации прошлого состоят в том, что память децентрирует исторического субъекта, она позволяет увидеть прошлое в разнообразии и в итоге расширяет коллективный исторический опыт. История же за счет

критических процедур выполняет корректирующую функцию и вносит нацеленность на истину вопреки субъективности памяти. Утверждается, что в концепции Рикёра понятие дистанции и тесно связанное с ним представление о необходимости инаковости, различия между прошлым и его репрезентацией является залогом достоверности истории, в то время как идея представления непосредственно о прошлом в исторических текстах является иллюзией и говорит о присутствии узурпирующего воображения.

5. В концепции Рикёра историческое знание реализуется в форме нарратива, который предстает как постоянное напряжение между миром практики и его символической репрезентацией, в которой участвуют как минимум язык, культура и сознание. То есть, исследователь накладывает на явления мира практики сетку смыслов, но не произвольных, а частично предзаданных уже существующими отношениями между вещами и явлениями. Адекватность накладываемых смыслов обусловлена исторической интенциональностью исследователя.

6. Нацеленность на события прошлого есть историческая интенциональность, реализуемая в трех операциях историографической процедуры: работа со следами (документами, артефактами и иными свидетельствами), объяснение/понимание и репрезентация труда историка в виде текста, который одновременно является и репрезентацией событий прошлого. Постоянное дополнение картины прошлого с учетом новых данных, документов и новых последствий прошлых событий есть процесс репрезентирования прошлого, осуществляемый исторической наукой.

7. Важность вклада Рикёра в рассмотрение проблемы исторической достоверности определяется тем, что ему удалось рассмотреть работу историка в ее целостности, во взаимодействии всех операций, но главное – в тесной связи написания истории с социальной жизнью и с когнитивными способностями человека. Такой подход предоставляет основания для утверждения достоверности исторического знания и помещающей историю в широкий социальный контекст, в котором история становится функциональным

элементом, а ее достоверность залогом его успешного функционирования. В частности, утверждается, что глубокий анализ связи и соперничества истории и памяти позволяет по новому взглянуть на проблему референциальности исторических текстов, а именно сместить фокус с разрыва знака и референта на их необходимую взаимосвязь и способы ее установления.

Полученные результаты способствуют более полному и адекватному пониманию как философской и исторической доктрины Рикёра, так и современного положения исторической науки.

Область применения результатов работы

В теоретическом плане проведенное исследование может быть полезно для осмысления новых функций исторического познания для современного общества. В практическом плане материалы диссертационного исследования могут использоваться для разработки курса теории и методологии исторического познания. На основании полученных в данной работе результатов могут быть сформулированы рекомендации для корректировки государственной исторической политики и политики памяти в Российской Федерации.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Достоверность полученных результатов определяется репрезентативностью источников, на которых базируется исследование. Важные для исследования труды Рикёра были изучены диссертантом на языке оригинала. Кроме того, достоверность обеспечивается корректным применением общенаучных и специально-исторических методов.

Свидетельством достоверности результатов также служит успешная апробация работы. Основные положения данного диссертационного исследования не раз были представлены в виде доклада на научных семинарах Сектора истории философии Института философии и права СО РАН (2012–2016 гг.). Отдельные аспекты диссертационной работы освещались автором в докладах и были представлены в виде тезисов на различных научных конференциях: Всероссийский научный семинар «Копнинские чтения» (ТГУ,

Томск, 2004), «История, память, идентичность: теоретические основания и исследовательские практики» (ИВИ РАН, Москва, 2016), «Re-member: рассказ о себе, память и идентичность» (Центр современной философии университета Париж I Пантеон-Сорбонна, Париж, 2015). Часть результатов, существенных для данного исследования, была получена благодаря работе в Центре Жана Пепена (Национальный центр научных исследований Франции) и библиотеке Школы высших социальных исследований (Париж), при поддержке стипендии Президента РФ для стажировки за рубежом. Результаты исследования представлены в шести научных публикациях, которые отражают основное содержание работы.

Список работ, опубликованных по теме диссертационного исследования:

А. Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России, и рецензируемых периодических изданиях, входящих в международные реферативные базы:

1. Аникина А.Б. Дискурс истории: возможно ли заменить истинность на эффективность? // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. 2015. Т. 13. Вып. 1. С. 100-107.

2. Аникина А.Б. Логика исторического процесса: ее конструирование и саморазрушение // Сибирский философский журнал. 2016. Вып. 1. С. 83-93.

3. Аникина А. Б. Трактат «О памяти и припоминании» Аристотеля и концепция истории как репрезентации прошлого Рикёра // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016. Т. 10. Вып. 2. С. 395-402.

Б. Другие опубликованные работы по теме диссертации:

1. Аникина А.Б. Эпистемология истории Ф.Р. Анкерсмита // Труды всероссийского семинара молодых ученых им. П.В. Копнина (сессия 2). Издательство ТГУ, 2006. С. 45-51.

2. Аникина А.Б. История как репрезентация прошлого (П. Рикёр «Память,

история, забвение») // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы X региональной научной конференции молодых ученых Сибири в области гуманитарных и социальных наук. Новосибирск, 2012. С. 123-126.

3. Аникина А.Б. Историческое воображение: Р. Коллингвуд и П. Рикёр // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований. Материалы XI региональной научной конференции молодых ученых Сибири в области гуманитарных и социальных наук. Новосибирск. 2013. С. 104-107.

4. Аникина А.Б. Память как матрица истории (концепция Поля Рикёра) // История, память, идентичность: теоретические основания и исследовательские практики / Материалы международной научной конференции / М.: Аквилон, 2016. С. 27-30.

Структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы, включающего 161 наименование. Общий объём работы – 156 страниц.

Глава 1

Память как онтологическое основание истории

Память играет в истории неоднозначную роль. Во-первых, она является условием существования исторической науки: мы можем размышлять о прошедшем только потому, что мы способны удерживать и воспроизводить в сознании прошлый опыт. Это фундаментальное свойство (и потребность) человеческого сознания обуславливает и идентичность личности. Во-вторых, воспоминания (в различных своих видах) являются важнейшим материалом для истории. В-третьих, память сама может выступать объектом истории как науки. В ходе рассуждений в книге «Память, история, забвение» Поль Рикёр еще расширяет спектр отношений между памятью и историей, предлагая собственную трактовку..

Поскольку память играет для истории такую значительную роль, то ключевой для Рикёра становится задача разделения памяти и воображения, которые замкнулись друг на друга в ходе развития философской мысли. Это необходимо, поскольку в научной традиции воображение имеет низший статус в иерархии способов познания, что, в свою очередь, подрывает доверие к истории как науке. Для этой цели Рикёр сначала систематизирует феномены памяти, располагая их по степени рефлексивности, что оказывается, в свою очередь, мерой их причастности воображению. Подробно феноменология памяти рассмотрена в первом параграфе главы, где автором исследования предложена наглядная схема сопоставления оппозиций, вводимых Рикёром для упорядочивания феноменов памяти.

Свое рассмотрение вопроса о разграничении воображения и памяти Рикёр предваряет важным замечанием, предостерегая от распространенной в последнее время тенденции акцентировать внимание на недостоверности памяти. Конечно, проблемы ненадежной памяти существуют, но они не отменяют того, что мы все-таки что-то запоминаем.

Кроме того, Рикёр подчеркивает, что хотя недостоверная память может

принести нам определенные проблемы, тем не менее, возможность забывать – не есть только дисфункция памяти, но и определенная возможность, даже способность или дар. В этом проявляется одна из удивительных особенностей образа мысли Рикёра: часто то, что мы привыкли воспринимать как досадную нехватку или препятствие, требующее устранения, философ рассматривает как неотъемлемое и необходимое дополнение. Так же и забвение в подходе Рикёра предстает как обратная сторона памяти, как то, что вообще создает условия для новой памяти и для продолжения жизни. Подробнее взгляды Рикёра на забвение будут изложены во втором параграфе данной главы.

Третий параграф посвящен непосредственно различению воспоминания и воображения, на основании отделения друг от друга двух модусов воображения: визирующего и иррационализирующего.

1.1. Феноменология памяти

Для определения основной задачи этого параграфа, воспользуемся удачной формулировкой Д. Корша: «дело заключается в том, чтобы перенести чрезвычайно разнообразные ходы Рикёра в более систематизированные рамки» [Корш, 2015. с. 123].

Вместо попыток дать определение такому многозначному понятию, как память, Рикёр предлагает рассмотреть и упорядочить разнообразные ее проявления, то есть построить феноменологию памяти. Такой подход оказывается более продуктивным, так как дает матрицу для учета всего многообразия мнемонических феноменов, позволяя соотносить различные проявления памяти с различными инструментами анализа, а в перспективе разделять их по способу использования в различных историографических и социальных практиках.

Первым в этом ряду оказывается вопрос о том, каким же образом можно упорядочить все многообразие мнемонических феноменов, чтобы они стали доступны для анализа? Тогда можно было бы выделить в них те черты, что

роднят их с воображением, но и найти те, что позволяют их разделить. Построения Рикёра кажутся весьма запутанными на первый взгляд, однако при внимательном анализе оказывается, что их не так уж сложно представить в виде системы.

Рикёр отмечает предметный характер памяти, ее нацеленность на что-то. В этой связи он разделяет память вообще и воспоминание как ее дискретную форму, у которой есть более-менее четкие границы. Память одна, а воспоминаний много. Рикёр выражает это в словах, которые можно перевести с помощью метафоры: следует различать память как прицел и воспоминание, как предмет под прицелом (*il faudrait distinguer dans le langage entre la mémoire comme visée et le souvenir comme chose visée*¹) [Ricoeur, 2000. p. 27]. В дальнейшем выражение Рикёра «*chose visée*» мы будем переводить как «предмет воспоминания». Рикёр отмечает в качестве значимой черты упорядочивания воспоминаний то, что можно выделить множество разнообразных степеней их различения.

Еще более значимым для исследования памяти Рикёр считает то обстоятельство, что среди прочих предметов воспоминаний особый статус (*le privilège*) произвольно приписывается тому, что можно назвать событием² [Ricoeur, 2000. p. 28]. Можно понять это и таким образом: чтобы мы ни вспоминали, в нашей памяти оно сохраняется как событие. Но Рикёр не соглашается с бергсоновским утверждением, что все события являются уникальными и единственными в своем роде. Спектр возможных событий разворачивается между двумя крайностями: полюсом отдельных событий и полюсом обобщений, который Рикёр называет также «состояниями вещей». Бывают, естественно, единичные, уникальные случаи, сюда же, к этому полюсу

1 В переводе И.С. Вдовиной: «следует различать память как нацеленность (*visée*) и воспоминание как имеющуюся в виду вещь (*chose visée*)». [Рикёр, 2004. С. 45].

2 Здесь есть существенная неточность в русском переводе. Французский текст: «*le privilège donné spontanément aux événements parmi toutes les «choses» dont on se souvient*» [Ricoeur 2000, 28]. Перевод звучит как «речь идет о привилегии, произвольно приписываемой определенным событиям в ряду тех, о которых вспоминают» [Рикёр, 2004. с. 46]. Однако здесь речь идет о том, что именно события вообще занимают привилегированное положение в ряду прочих явлений, которые могут служить предметом воспоминаний.

относятся и лица близких людей, слова, которые благодаря разному способу их произношения каждый раз звучат по-новому. Но события имеют свойство повторяться, и многие вещи нам приходится делать много раз, благодаря чему они и запоминаются. Многие события мы помним скорее благодаря их типичности. Так события выстраиваются вдоль этой оси, от уникальных явлений вплоть до ритуалов или номеров телефонов, которые не изменяются.

Далее Рикёр задается вопросом: каким образом становится возможным опознать предмет воспоминания как принадлежащий прошлому? Особенно те явления, что склонны приближаться к «состоянию вещей», ведь будучи обобщенными, отделенными от своего конкретного воплощения в реальности, они могут утратить связь с той временной дистанцией, которая отделяет их от настоящего. Для этого Рикёр вводит несколько оппозиций, последовательно вводя идею «инаковости» первоначально воспринятого образа и соединяя ее с механизмом узнавания его в воспоминании. Кроме того, вводимые оппозиции позволяют построить некую классификацию феноменов памяти, которая позволила бы, как удачно подытожила И.И. Блауберг «лучше сориентироваться в полисемии воспоминаний, представляющих в нашем опыте в разных формах и на разных уровнях: как образов людей, состояний вещей, единичных событий или их серии и т.п.; как ясные образы с четкими границами или нечто вроде смутных фантазий» [Блауберг, 2008. с. 63].

а) Привычка vs память. Эту оппозицию между памятью-привычкой и памятью-воспоминанием Рикёр заимствует у Бергсона. В обоих случаях должен быть ранее приобретенный опыт. Но привычка, хоть и началась в прошлом, продолжает быть включенной в настоящее, а воспоминание отсылает к опыту именно как полученному в прошлом. Оба эти полюса по-разному – явным и неявным образом – «отсылают к определенному месту во времени изначального опыта» [Рикёр, 2004. с. 48]. Эта оппозиция отсылает нас к обретению временной дистанции с точки зрения «градиента дистанцирования», поскольку предполагается, что опыты можно сортировать по их временной глубине:

наименее глубокий тот, где прошлое примыкает к настоящему, а наиболее отдаленный, где прошлое осознается в его безвозвратности.

Рикёр приводит утверждение Бергсона о том, что «воспоминание об одном определенном чтении – это представление и только представление (*représentation*)» [Bergson, 1963. p. 207]. В этом смысле заученный урок скорее проделан, чем представлен, и каждое последующее его «проделывание» будет действием в настоящем, а не отсылкой к прошлому. В то время как память-воспоминание имеет свое место и свою дату, которая позволяет нам найти определенный образ в ряду других дат и связанных с ними образов. Как комментирует И.И. Блауберг: «Различие между двумя данными случаями капитально: по излюбленному выражению Бергсона, это различие в природе, а не в степени» [Блауберг, 2008. с. 64]. Как комментирует сам Рикёр «В этих двух крайних случаях предполагается наличие ранее приобретенного опыта: однако в случае с привычкой этот ранее приобретенный опыт включен в ныне протекающую жизнь, не обозначенную и не декларируемую как прошлое; в другом случае отсылка к ранее полученному опыту сделана именно как к опыту, достигнутому в прошлом» [Рикёр, 2004. с. 48].

Помимо временной дистанции, в памяти-привычке отсутствует и различие с первоначальным опытом: привычка – это память, которая повторяет то же самое. Памяти, которая повторяет, противостоит память, которая вызывает образы-воспоминания, а для этого «надо обладать способностью отвлекаться от действия в настоящем» [Bergson, 1963. p. 207]. Следовательно, важной чертой отличия памяти от просто привычки является момент узнавания – установление соответствия между сохранившимся образом и воспринятым: «память-привычка просто действует без явного узнавания» [Ricoeur, 2000. p. 558].

Область привычки включает разные уровни:

- телесные способности и все модальности позиции «я могу»;
- социальные обычаи, нравы, все габитусы совместной жизни (в том числе, практики поминания, противопоставленные воскрешению в памяти, которое соотносится только с индивидуальной памятью).

Бергсоновский анализ противопоставления памяти и привычки позволяет Рикёру «классифицировать опыты с точки зрения их временной дистанции по отношению к настоящему, то есть в соответствии с их временной глубиной, начиная от тех, где прошлое оказывается наиболее близким настоящему, до самых далеких, более всего отстоящих от актуальной ситуации» [Блауберг. 2008, с. 65]. Эти уровни привычки сопоставимы с разными уровнями памяти, которые будут введены позже: с индивидуальной и коллективной памятью-воспоминанием. Так что различие привычка/память может сочетаться с другими оппозициями, вводимыми Рикёром, такими как индивидуальное/коллективное и теми, что будут описаны далее.

б) Следующая оппозиция, вводимая Рикёром для упорядочивания проявлений памяти это различие воскрешения в памяти (*évocation*) и разыскания (*recherche*) в памяти («вызывание» в переводе под ред. И.С. Вдовиной). Это различие является очень важным для дальнейших рассуждений философа. Воскрешение – произвольно пришедшее воспоминание, Аристотель считал его чувством (*pathos*). Разыскание в памяти – это результат интеллектуального усилия. Рикёр исследует это противопоставление также с опорой на Бергсона (его очерк «Интеллектуальное усилие»). Телесные аспекты восприятия, удержания в памяти и вспоминания здесь остаются в стороне.

Бергсон проводит различие между «трудным» и «моментальным» вспоминанием. С одной стороны, вызывание воспоминания – это психический факт. Но с другой стороны, мы прикладываем разные психические усилия в случае мгновенного вспоминания и в случае трудного вспоминания. Мы вполне можем отличить, есть напряжение интеллектуального усилия или его нет, значит, это разные психические факты, и они находятся в разных планах сознания. Трудное вспоминание – это явная форма интеллектуального усилия, в то время как моментальное не требует от сознания никаких усилий, и представляет ноль на этой шкале.

В рамках данного противопоставления можно выделить автоматизм механического вызывания в памяти и рефлексивность умственного воспроизведения (впрочем, тесно переплетенные в обыденном опыте). Шкала интеллектуальных усилий имеет значение для Рикёра (и, как он полагает, для всех когнитивных наук), поскольку она наилучшим образом позволяет представить градации перехода «от самой легкой, каковой является работа воспроизведения, к самой трудной – работе творчества и изобретения» [Бергсон. 1914, р. 124]. Эти два полюса соотносятся с введенными выше оппозициями привычка/память. Привычка характеризуется автоматизмом и не требует интеллектуальных усилий, в то время как воспоминание вызывается к жизни процессом вспоминания, требующим воображения, и в этом смысле близким к процессу изобретения. Мгновенное воскрешение вызывается каким-либо воздействием, как чувство. Воспоминание вызывается затруднением: нужно вспомнить то, что забыто. Для этого нужно осознать, что нечто забыто, и целенаправленно приложить усилие для восстановления упущенного памятью. Именно существование феномена забывания обуславливает необходимость интеллектуального усилия для вызывания воспоминания.

в) Наконец, важное различие Рикёр вводит опираясь на гуссерлевские понятия «ретенция» (удержание или первичное воспоминание) и репродукция (воспроизведение, вторичное воспоминание). Оставляя в стороне вопросы конституирования времени, связанные с анализом этой пары понятий, обозначим суть этой оппозиции как различие «начинать» – «продолжать». «Это различие конститутивно для феноменологии воспоминания» [Рикёр, 2004. с. 61]. Воспроизводимое в памяти не есть само удерживаемое впечатление. Между ними есть разрыв, Рикёр опирается здесь на слова Гуссерля: «"прошедшее" и "теперь" исключают друг друга» [Гуссерль, 1994. с. 38]. Возникает напряженность между актуально настоящим и неделимостью на фрагменты феномена протекания. И все-таки «длиться» – значит каким-то образом преодолевать этот разрыв и оставаться тем же самым. Это становится

возможным посредством модификации.

Именно по отношению к этому разрыву и проявляется полярность «первичное» и «вторичное» воспоминание, удержание/воспроизведение. Удержание предполагает некую длительность, оно непосредственно соединяется с актуальным восприятием, и в этом смысле является презентацией объекта. В то время как вторичное воспоминание становится «репрезентацией», так как оно связано с воспроизведением, повторной презентацией уже раз исчезнувшего объекта. Вторичное воспоминание тоже может быть удержано, но в форме вспомненного. К этой его модальности приложимо различие между мгновенным вызыванием в памяти и трудным вызыванием, а также различия между уровнями ясности представления. Важно то, что воспроизведенный временной объект более не основывается на непосредственном восприятии, но он присоединяется к настоящему как «хвост кометы» (Гуссерль). Подобное воспроизведение, не основанное на непосредственном восприятии Рикёр вслед за Гуссерлем относит к модусам воображения.

г) Еще одна оппозиция представляет собой не ряд градаций, а два полюса – рефлексивность и принадлежность миру (*mondanité*, буквальный перевод «светскость, жизнь в миру»). Это различие позволяет задействовать другой аспект или другое направление анализа воспоминаний, переориентирующих его с соответствия двух образов в сознании – воспринятого и вспомненного – на корреляцию между сознанием и окружающим миром.

Принадлежность миру – это способность «вспоминать не только себя видевшим, испытывающим, изучающим, но и ситуации материального мира, которые мы увидели, ощутили, изучили» [Ricoeur, 2000. p. 44]. Между этими полюсами нет степеней перехода, но есть диалектическая связь.

Эта оппозиция в изложении Рикёра несколько размыта. С одной стороны, она напоминает о противопоставлении «личная память – коллективная память», (которое подробнее рассматривается отдельно, см. 2.1.2). С другой,

рефлексивный полюс данной оппозиции обобщает одну сторону уже введенных различий: память-воспоминание (в отличие от памяти-привычки) и усилие по вызову воспоминания (в отличие от автоматического воскрешения). Однако использование слова «рефлексивность» в качестве оппозиции принадлежности миру может запутать, поскольку коллективности (которая есть один из аспектов принадлежности миру) тоже может быть свойственна рефлексивность³. В то же время, мы не можем свести эту оппозицию к различению «личная память – коллективная память», поскольку коллективная память вовсе не то же самое, что «принадлежность миру».

Таким образом, мы будем называть далее эту оппозицию как «принадлежность сознанию» – «принадлежность миру», полагая, что принадлежность сознанию отчасти подразумевает рефлексивность, в том числе и как отражение окружающего мира. Посредством введения этой оппозиции Рикёр пытается восстановить связь феноменологии памяти с явлениями материального мира, нарушенную гуссерлевской эпохэ, которая, как он полагает, «под прикрытием объективации наносит удар по внутримировости» [Рикёр, 2004. с. 63]. Опоры для своего моста через эту бездну, отделяющую сознание от мира, Рикёр находит в труде Эдварда Кейси «Воспоминание» [Casey, 1987]. Кейси в своих рассуждениях также исходит из возможности двух различных состояний памяти: «keeping memory in Mind» (удержание воспоминания в уме) и «pursuing memory beyond Mind» (преследование/продолжение воспоминания за пределами ума). Эти противоположные состояния взаимосвязаны через ряд модусов памяти «Reminding⁴, Reminiscing, Recognizing» (напоминание, воспоминание,

3 Возможно, что выбор Рикёром слова *réflexivité* обусловлен образностью, свойственной его языку. Во французском языке слова с корнем «*réflex*» имеют значения, связанные с отражением, как например, *réflexibilité* – «отражательная способность». Предположительно, за счет этой дополнительной семантической нагрузки философ хотел подчеркнуть неразрывную взаимосвязь этих двух полюсов (сознания и мира). Однако, поскольку в русском языке эта связь не очевидна, вероятно, для ясности лучше использовать разные термины.

4 Следует отметить некоторую путаницу при переводе этого термина в русском тексте. Местами он обозначен как «акт воспоминания», хотя это не соответствует словарному значению английского слова *remind*. Французское слово, которое Рикёр предлагает как эквивалент английскому – *rappeler* – тоже почему-то переводится как «вспоминать», хотя его базовое значение «вновь звать, напоминать о».

узнавание). Рикёр полагает, что найденные Кейси модусы памяти представляют собой не что иное, как те переходные явления, что могут связать между собой полюс «принадлежности сознанию» и полюс «принадлежности миру».

- Модус Reminding включает в себя напоминания, «узелки на память», иными словами, знаки, призванные защищать от забвения. Они могут быть как внутренними (личные ассоциации), так и внешними (фотографии, записки).

- Модус Reminiscing уже требует активности сознания, он состоит в том, «чтобы оживить прошлое, вызывая в памяти несколько вещей» [Рикёр, 2004. с. 65], одна из которых помогает оживить другие (она служит напоминанием о них). Его можно представить в форме рефлексивной памяти, примерами могут быть личный дневник, мемуары. Тем не менее, этот модус осуществляется «на том же уровне дискурсивности, что и простое воскрешение в памяти на его декларативной стадии» [Там же].

- Модус Recognizing осуществляется сначала как дополнение к напоминанию. При встрече с неким напоминанием («узелком»), происходит узнавание в нем знака чего-то прошлого, но пока еще скрытого. Затем мы начинаем вспоминать, прикладываем усилия, разыскивая это скрытое, мы можем перебирать разные варианты образов, и в конце концов «мы узнаем возникшее в настоящий момент воспоминание как такое же по отношению к первичному впечатлению, имеющемуся в виду как другое» [Ricoeur. 2000, p. 47].

Узнавание располагается в той области введенной Рикёром системы, которая охватывает полюс рефлексивности, так как оно венчает успешную работу памяти по разысканию воспоминания. В непринужденном, даже в некотором смысле, автоматическом воскрешении в памяти инаковости мало. Зато «в ощущении чуждости инаковость празднует победу» [Там же]. Именно в узнавании преодолевается эта пропасть инаковости первого впечатления и последующих актов памяти. Эта проблема взаимосвязана с проблемой репрезентации, или присутствия того, что отсутствует. «Однако маленькое чудо узнавания состоит в том, что оно облекает присутствием инаковость

минувшего» [Там же]. Узнавание характеризуется определенным чувством, которое сродни той радости, которую мы ощущаем, когда узнаем знакомое лицо в толпе чужих людей – по этому чувству мы и понимаем, что действительно узнали, нашли то, что искали: «да, вот оно!» Поэтому воспоминание является вторичным представлением: в смысле «позади» и в смысле «заново». Вслед за Кейси, Рикёр называет модус узнавания срединным. Вероятно, потому, что он предвещает критическую операцию перемещения вспоминаемого объекта в царство истекшего прошлого.

Обозначенные Кейси модусы в очень общих чертах описывают работу памяти по воссозданию картины минувшего. Но их важной особенностью является как раз учет той сферы, что Рикёр назвал «принадлежностью миру». Воспоминание – это не только работа сознания с образами, но это работа со знаками внешнего мира, знаками напоминающими и знаками узнаанными. Но одним из ближайших таких знаков могут считаться телесные ощущения: запах, напоминающий нам о чем-то, мелодия, знакомый маршрут прогулки. Таким образом, эти модусы приводят нас к таким мнемоническим явлениям, которые включают в себя тело, пространство и в целом мир.

Тело становится первым шагом к внутримировости. Телесная память вполне может быть «распределена вдоль первой оси оппозиций⁵: от тела привычного до тела, если можно так выразиться, событийного» [Там же, с. 48]. Речь идет об оппозиции, которую мы рассмотрели под буквой а) привычка/память. Поэтому прилагательное «привычный» (*habituel*) можно понять и как «такой, как всегда, близкий», и как «являющийся привычкой, носитель привычки» (в смысле, привычный жест), а событийный (*événementiel*) отсылает нас к физическому участию в событии. Так телесная память может быть модальностью привычки (например, вождение машины) или носителем особых ощущений (знаменитое печенье мадлен у Пруста). Кроме того, телесная память содержит чувственные воспоминания, которые могут быть по-разному

⁵ К сожалению, в тексте русского перевода эта ось оппозиций названа «первичной» и не сразу становится понятным, что речь идет о первом противопоставлении привычка/память.

удалены во времени, так что феномены телесной памяти легко располагаются системе координат мнемонических феноменов, предложенной Рикёром.

От тела Рикёр делает шаг к окружающему пространству. От телесной памяти можно перейти к памяти о местах: я там ходил, я помню, как туда пройти, что там расположено, какая местность. На этом первичном уровне конструируется феномен «мест памяти»⁶, которые служат опорой слабеющей памяти, как личной, так и коллективной. Более, того, феномен «мест памяти» может служить примером связи или переходного звена от личной к коллективной памяти. Места, значимые в первую очередь для кого-то лично становятся со временем значимыми для всей нации. Нагляднее всего это демонстрируют мемориалы с именами павших или памятные таблички: почитание людей, изначально просто близких кому-то лично, становится значимым для всей нации.

От пространства Рикёр переходит ко времени. Тело – это здесь, все остальное – там. «Теперь» – это временной аналог «здесь». Связь между телесной памятью и памятью о местах позволяет отделить пространство и время от их объективированной формы. Таким образом, связь между воспоминанием и местом является другим измерением связи между локализацией и датированием. Дата как место во времени способствует поляризации мнемонических феноменов на привычки и собственно память. Привычки находятся в области «теперь», но наличие соотнесенности именно с прошлым запускает рефлексивную фазу припоминания.

Именно таким образом, как полагает Рикёр, мнемонические модусы напоминания, вспоминания, узнавания, как планки подвесного моста, проводят нас от полюса принадлежности сознанию к полюсу принадлежности миру.

Описанную Рикёром систему оппозиций можно представить в виде пересекающихся осей трех измерений (см. рис.), они разбивают пространство мнемонических феноменов на ряд областей. На представленной здесь схеме не

⁶ Понятие, введенное Пьером Нора, подразумевающее явления, в которых воплощена национальная память.

отражена отдельно оппозиция воскрешение/вспоминание, но она учтена в виде характеристик привычки и памяти (автоматизм и рефлексивность).

Вспомним, однако, о том, для чего Рикёру понадобилось вводить эти оппозиции. Необходимо было выделить черты, знаки, по которым событие узнается как принадлежащее прошлому. Для начала, оно не должно быть привычным, оно должно сопровождаться чувством затруднения, наличием препятствия. Но ведь в мире есть много непривычных нам явлений, например, таких как блюда восточной кухни или новые технологии. В данном случае эти явления отделены от нас культурной дистанцией. Временная же дистанция узнается именно по чувству затруднения, причиной которого является забвение. По каким признакам эти вещи узнаются как принадлежащие прошлому? Потому, что мы можем отличить первоначальное впечатление от представления с помощью образа. Но при каких условиях это представление с помощью образа может считаться воспроизведением прошлого? Когда возникает радость узнавания, венчающего успешный поиск. Но в силу различения первичной памяти (ретенции) и вторичной памяти нет необходимости в том, чтобы воспоминание содержало именно изначально воспринятый образ.

Рикёр опирается на труды Бергсона и Гуссерля, которые работали на рубеже XIX – XX веков, и сам строит свои размышления без привлечения данных современных нейронаук. Возможно, теории, выстроенные без учета современных научных достижений, могут показаться сомнительными. Тем не менее, французский философ отдает должное достижениям наук, исследующих память, полагая, что феноменология памяти не должна игнорировать их данные. Но он намеренно и небезосновательно остается в поле феноменологии, поскольку сами по себе эти науки не могут объяснить феномен памяти в его глубинной структуре, так как в них не ухватывается главное – темпоральная природа этого феномена. Рикёр указывает, что мнемоническая функция «характеризуется, в отличие от всех прочих, отношением репрезентации ко времени, а в сердцевине этого отношения – диалектикой присутствия, отсутствия и отстояния, представляющей собой отличительный признак

мнемонического феномена» [Рикёр, 2004. с. 590]. Мнесические следы, с которыми имеет дело нейронаука, существуют только в настоящем; сами по себе они не отсылают к минувшему времени. Собственно темпоральный аспект, характеризующий феномен памяти, может быть осмыслен только в дискурсе о ментальном.

С этих же позиций, во многом следуя за Бергсоном, Рикёр подходит и к анализу забвения. Но все-таки Рикёр не принимает до конца идею Бергсона о том, что память как таковая независима от материи. Бергсон в своих исследованиях стремился дойти до этих подлинно метафизических вопросов, Рикёр же по замечанию Блауберг, «отвлекается от этих далеко идущих намерений Бергсона, но признает, что бергсоновский подход содержит в себе множество моментов, важных для феноменологии памяти» [Блауберг, 2008. с. 63]. Эти моменты оказываются особенно значимыми для взглядов Рикёра на феномен забвения и для его стремления вернуть памяти достоверность.

1.2. Забвение

Возможно, сегодня уже не вызывает удивления то, что вопрос о забвении рассматривается как один из аспектов памяти, хотя обычно считается, что забвение – это нечто полностью противоположное памяти, а именно – ее отсутствие. Такое положение феномена забвения в тексте исследования определено в первую очередь подходом самого Поля Рикёра и его методологией в целом. В данной работе мы уже сталкивались (и еще не раз столкнемся) с удивительной способностью французского философа превращать преграды в ступень для достижения цели, а то, что всегда считалось недостатком, обращать в необходимое условие для получения лучшего результата. Таким же образом Рикёр рассматривает забвение по отношению к памяти: оно представляет собой ресурс для памяти и, в некотором роде, ее необходимое условие. Кроме того, у забвения есть онтологически значимая функция, определяющая условия социального бытия людей.

1.2.1. Забвение как резерв памяти

Безусловно, Рикёр не отвергает общепринятого значения забвения как «стирания следов», как уход воспоминаний о прошлом в небытие, как безвозвратной утраты памяти о чем-либо. Но при этом довольно часто то, что казалось уже давно забытым и утраченным навек, возвращалось из небытия, так сказать «выуживалось из Леты», наперекор забвению. Это может происходить благодаря случайным обстоятельствам (неожиданному появлению свидетельств) или целенаправленным разысканиям, например, расследованиям, поиску историков, расспросам друзей и очевидцев, если дело касается личных воспоминаний. Значит, даже забытое, тем не менее, не может считаться полностью исчезнувшим.

Для начала Рикёр обозначает возможные подходы к пониманию феномена забвения, поскольку это понятие также очень многозначно. Для этого Рикёр предлагает «сетку прочтения, в основе которой лежит идея глубины забвения» [Рикёр, 2004. с. 575]. Далее Рикёр также упоминает об автоматизме и рефлексивности, которые могут характеризовать забывание. Это позволяет соотнести схему классификации феноменов забвения с той, что уже была использована для упорядочивания феноменов памяти. Нужно только заменить ось времени на ось глубины забвения, хотя они соотносятся между собой неоднозначным образом. Известно, что глубина индивидуального забвения не зависит от времени. Однако, когда речь идет о коллективной памяти, то чем дальше во времени отстоят события, тем более они подернуты нечеткой пеленой забвения. Сопоставимость этих двух схем – феноменологии памяти и феноменологии забвения показательна для концепции Рикёра, в которой забвение является одним из условий памяти.

Продвижение вглубь по этой вертикальной оси приводит Рикёра к той точке, где следы полностью исчезают из памяти, и господствует полное забвение. Однако сегодня такие области науки, как антропология,

палеонтология, геология (а в некотором смысле и физика) заставляют нас задуматься о том, а является ли эта область забвения действительно пустой, в смысле, не содержащей никаких следов. Ведь удивительным образом эти науки сегодня буквально «вылавливают из Леты» то, что считалось раньше забытым навеки, ушедшим в толщу веков, что тысячелетиями даже не мыслилось как то, что можно «восстановить».

Рикёр считает, что на определенной глубине этого погружения в забвение нам придется решать, пуста ли эта область или она в некотором смысле содержит какие-то воспоминания, которые в данный момент недоступны сознанию. «Это и есть тот критический момент, где намечается значительно расхождение ... а именно, оппозиция между двумя основными образами глубокого забвения, которые я называю забвением из-за стирания следов и забвением-резервом» [Ricoeur, 2000. p. 539].

Возможность второго подхода к забвению Рикёр обосновывает с опорой на идеи Бергсона, который в книге «Материя и память» также утверждал возможность сохранения воспоминаний. Как характеризует концепцию Бергсона И.И. Блауберг, «Фактически Бергсон понимает память как виртуальную духовную реальность, которая – если человек окажется способным глубже проникнуть в эту «неосвещенную область», воспользоваться ее полнотой и богатством в интересах собственного развития как личности, – представляет собой неисчерпаемый потенциал, ресурс творчества и свободы» [Блауберг, 2008. с. 72]. Именно эту идею Рикёр полностью разделяет и принимает как отправную точку, исходя из которой он формулирует свой тезис о существовании двух типов забвения – забвения из-за стирания следов и забвения-резерва, то есть «той виртуальной сферы, ресурса, из которого черпает и на надежность которого рассчитывает в своей деятельности "человек могущий"» [Там же].

Возможность разделения этих двух видов забвения основывается также и на том, что они касаются двух разных типов следов прошлого. Все возможные

следы прошлого Рикёр разделил на три типа: письменные⁷, кортикальные и аффективные. Письменные сохраняются в архивах и музеях, ими занимается история. Кортикальными занимаются нейронауки. Третий вид следа Рикёр считает «наиболее проблематичным», но одновременно и «самым значимым» для своего исследования: «это пассивное сохранение первичных впечатлений: событие нас поразило, коснулось, затронуло, и его аффективный знак остается в нашем сознании» [Рикёр, 2004. с. 591]. Как полагает Рикёр, именно эти следы заполняют глубинные слои забвения.

Свою концепцию забвения как резерва Рикёр формулирует в виде следующих допущений:

Допущение 1: сохраняться, длиться свойственно прежде всего аффектам, которые открывают нам некое скрытое значение слова «пребывать» как синонима слова «длиться».

Допущение 2: это значение «пребывания» обычно скрыто из-за препятствий на пути вызову воспоминаний или из-за злоупотреблений забвением.

Допущение 3: между утверждением о способности аффективных следов сохраняться (и длиться) и представлением нейронаук о кортикальных следах нет никакого противоречия: «два эти рода следов изучаются при помощи различных способов мышления, соответственно экзистентного и объективного [Рикёр, 2004. с. 592].

Допущение 4: такое сохранение образов Рикёр рассматривает как основную форму глубокого забывания, которое он и называет забвением-резервом.

Первое допущение Рикёра есть развитие идеи Бергсона о чистых воспоминаниях, которые каким-то образом виртуально сохраняются, пока не будут актуализированы в воспоминании. Возможность такого допущения Рикёр видит в противоречии между кратковременностью кортикального следа и

⁷ Можно использовать более широкое обобщение «внешние» следы, которое употребляет и сам Рикёр так как в реальности как история, так и другие науки работают не только с письменными следами, но и с разного рода материальными остатками. «Внешние», поскольку кортикальные и аффективные следы являются как бы внутренними для субъекта.

явлением узнавания.

С одной стороны, есть биохимические процессы в мозге, связи нейронов и все прочее, но, как полагает Рикёр, они кратковременны, они произошли и сменились уже другими действиями, другими следами. С другой стороны, у нас есть некоторое представление о том, «что означают присутствие того, что отсутствует, предшествование, временная дистанция и глубина» [Там же, с. 593]. Именно из-за такой двойственности происходит смешение трудностей, которые можно устранить, с безвозвратным стиранием следов. Рикёр полагает, что мы не можем объяснить это представление, опираясь только на идею кортикального следа. Мозг не может дать нам ключ к загадке сохранения прошлого в форме представления. Попытки же оставаться исключительно на позитивистских позициях в этом вопросе приводят к ряду трудностей сущностного и эпистемологического характера: «К угрозам окончательного забвения, с одной стороны, и мании запрета на воспоминание – с другой, прибавляется теоретическая неспособность признать специфику психического следа и неустранимость проблем, связанных с впечатлением-аффектом» [Там же].

Чтобы избежать этих трудностей, нужно обратиться к первому допущению, в соответствии с которым длиться могут только аффективные следы. Но можно ли это умозрительное предположение как-то подтвердить, найти ему какое-то соответствие в опыте? Рикёр полагает, что это может быть опыт узнавания.

Узнавание «происходит уже в процессе восприятия: кто-то однажды присутствовал; он отсутствовал; он вернулся. Появляться, исчезать, появляться вновь. В этом случае узнавание, преодолевая отсутствие, соединяет – состыковывает – вновь появившееся с тем, что появлялось прежде» [Там же]. Рикёр перебирает различные значения слова «узнавать», от платоновского узнавания как вспоминания ранее забытого знания до гегелевского узнавания как этического акта. В любом случае, знать означает именно возможность

узнать снова⁸. Рикёр в своем методе часто использует разнообразие словоупотребления для того, чтобы обогатить представление об исследуемом явлении. Но все-таки ядром значения остается базовый смысл: узнавание как мнемонический акт в уже указанном выше смысле (см.1.1.). «Происходит, наконец, собственно мнемоническое узнавание, называемое обычно просто узнаванием, вне контекста восприятия и без необходимой опоры со стороны репрезентации; оно состоит в точном совмещении образа, присутствующего в сознании, и психического следа, тоже называемого образом, оставленного первичным впечатлением» [Ricoeur, 2000. p. 556]. Здесь опять появляется уже знакомая нам конструкция «маленького чуда» узнавания, преодолевающего вечную загадку присутствия того, что отсутствует, переформулированную в загадку наличия представления о прошлой вещи.

Но этот опыт узнавания нельзя в полной мере считать подтверждением сохранения аффективных следов. Рикёр утверждает, что акт узнавания «разрешает в действии» проблему присутствия воспоминаний, но кажется, что он только еще раз актуализирует эту проблему, поскольку, как и сам Рикёр отмечал выше, действие не может являться причиной и достаточным условием самого себя. И здесь он тоже признает, что «Умозрительная загадка продолжает существовать в самой сердцевине действенного (effective)⁹ решения» [Там же, p. 557]. Откуда нам известно, спрашивает Рикёр, что впечатление-аффект действительно сохраняется и делает возможным узнавание? Это умозаключение сделано задним числом: раз произошло узнавание, значит тому была причина. Чтобы предложить теоретическое обоснование своего решения, Рикёр снова обращается к «Материи и памяти» Бергсона и тезису о том, что воспоминание есть процесс реактуализации «чистого образа» в воспоминании-образе.

Теоретическое обоснование возможности сохранения аффективных

⁸ То есть, если не испытать узнавания, значит, нельзя сказать, что уже знал это раньше. Рикёр пишет «De multiples façons, connaître c'est reconnaître» [Ricoeur. 2000, 556]. Во французском словоупотреблении отличается от русского: для обозначения процесса узнавания чего-то впервые чаще используется глагол apprendre (можно перевести, примерно, как «воспринять»).

⁹ Опять игра слов метафоричного языка французского философа, к сожалению, редко передаваемая в русском переводе: здесь имеет место совмещение значений «действенный» как произведенный действием и «действенный» как эффективный.

следов Рикёр целиком основывает на идее Бергсона о том, что мозг может быть только органом действия. Исходный тезис Бергсона состоит в том, что тело – только инструмент действия, соответственно, и мозг тоже как часть тела, хотя он и является организующим центром. Поэтому мозг не может сохранять воспоминания. «Идею о том, что мозг помнит, как он получил впечатления, Бергсон считает непостижимой» [Рикёр, 2004. с. 596].

Идея невыводимости психического из материального приводит к следующим утверждениям:

1) кортикальный след не сохраняется именно как след самого минувшего события;

2) если живой опыт не был бы с самого начала психическим следом, он уже не смог бы каким-либо образом стать им.

Из них в свою очередь выводится тезис о сохранении психических образов прошлого. Исходя из этих утверждений, мозг не может помочь нам отыскать психический след минувших событий, поэтому, как полагает Рикёр, «нужно пойти другим путем, приписав впечатлению способность продолжать существовать, сохраняться, длиться и усматривая в этой способности не *explicandum* ... но самодостаточный принцип объяснения» [Там же, 596-597]. Такое решение помогает Рикёру избежать некоторых, пока неразрешенных проблем когнитивных наук, связанных с еще недостаточно ясным механизмом преобразования электрических импульсов мозга в психические образы.

Далее Рикёр исследует, каким образом Бергсон пытается ответить на вопрос: «...как сохраняются эти представления и в каком отношении они находятся к моторным механизмам?» [Бергсон, 1992. с. 206]. Отвечая на этот вопрос, Бергсон разделяет две формы накопления воспоминаний: с одной стороны, это двигательные механизмы, которые запоминают повторяемые действия, извлекая для себя пользу, с другой – это личные образы-воспоминания, которые регистрируют события прошлого, с их контуром, окраской и местом во времени (это соотносится с обозначенными ранее памятью-привычкой и памятью-воспоминанием). Бергсон настаивает на тезисе

о независимости памяти-представления, а для этого необходимо четкое разделение двух указанных форм памяти.

Сошлемся также на утверждение И.И. Блауберг о том, что «Рикёр безусловно принимает и разделяет бергсоновскую идею о сохранении воспоминаний» [Блауберг, 2008. с. 72]. Он приводит цепочку независимых суждений, касающихся феномена узнавания, с помощью которой Бергсон обосновывает возможность сохранения воспоминаний:

1) Узнать воспоминание о первичном впечатлении, образ которого возник одновременно с начальным аффектом, – значит вновь это воспоминание обрести.

2) Вновь обрести – значит предполагать, что оно если и не доступно напрямую, то в принципе имеется в наличии.

3) Если воспоминание имеется в наличии, значит оно находится в латентном состоянии.

4) Эта цепочка рассуждений снова приводит нас к уже затронутому ранее тезису о том, что любое настоящее уже в момент своего появления представляет собой собственное прошлое.

1.2.2. Время и сохранение следов

Дальнейшее следование по этому пути подводит нас к идее эквивалентности времени и памяти, во всяком случае, в их «человеческом измерении», выражаясь языком Рикёра. Эту идею он подхватывает вслед за Бергсоном, и в «Памяти. Истории. Забвении» подходит к ней со стороны исследования памяти: «Однако поскольку память есть настоящее прошлого, все, что говорится о времени и о его отношении к интериорности, можно смело перенести на память» [Рикёр, 2004. с. 142]. Само определение, что «память есть настоящее прошлого» уже содержит в себе отождествление памяти и времени. Но не окажется ли на поверку это выражение просто туманной метафорой, скрывающейся за кажущейся интуитивной понятностью?

Дело в том, что в своих рассуждениях Рикёр опирается на идеи Бергсона, и особенно на их интерпретацию, предложенную Делёзом в работе «Бергсонизм». Мысль Бергсона относительно восприятия времени такова: «... мы никогда не достигли бы прошлого, если бы сразу не были в нем расположены... Тщетно было бы искать его след в чем-то актуальном и уже реализованном: все равно, что искать темноту при полном освещении» [Бергсон, 1992. с. 244]. Как утверждает Блауберг, именно эта мысль Бергсона становится очень значимой для Рикёра, так как «ею описываются существенные психологические особенности процесса репрезентации прошлого: при воспоминании чего-либо мы сразу размещаемся в прошлом и от него движемся к настоящему» [Блауберг, 2008. с. 70].

Рассуждая таким образом, Бергсон приходит к мысли, что «практически мы воспринимаем только прошлое, так как чистое настоящее представляет собой неуловимое поступательное движение прошлого, которое подтачивает будущее» [Бергсон, 1992. с. 254]. Однако Рикёра интересует не только эта психологическая составляющая восприятия прошлого, поскольку он обращается к онтологизирующей интерпретации Делёза: «...здесь есть, так сказать, фундаментальная позиция времени, а также наиболее глубокий парадокс памяти: прошлое "одновременно" с настоящим, которым оно было. ...Прошлое никогда бы не установилось, если бы оно не сосуществовало с настоящим, чьим прошлым оно является» [Делёз, 2000. с. 136]. Для Делёза идея о том, что настоящее уже содержит в себе прошлое, и даже является прошлым, одновременно с тем, как оно является настоящим – это вопрос онтологии, а не психологии.

Кроме того, Делёз полагает, что «Прошлое сосуществует не только с настоящим, каким оно было, но... оно является полным интегральным прошлым, оно – все наше прошлое, сосуществующее с каждым настоящим» [Там же 137-138]. Мысль эта сначала кажется сложной, но тут все дело в привычных нам метафорах. Школьная привычка представлять время в виде оси t , на которой каждый момент времени соответствует какой-то точке, затрудняет

восприятие этой идеи. Бергсон для иллюстрации своего подхода к памяти приводит рисунок, где представляет всю совокупность воспоминаний в виде концентрических кругов, расширяющихся в соответствии с возрастанием глубины [Бергсон, 1992. с. 244]. Этот образ несколько абстрактен и его тоже трудно сходу приложить к реальности. Но от рисунка Бергсона легко перейти к метафоре концентрических колец, например, дерева, вбирающего в себя солнечный свет и влагу, осадки и много всего, что с течением времени происходит вокруг него. То, что дерево впитывает, преобразуется в материю его ствола, откладывается в виде годичных колец, так что все прошлое, все полученное, все воспринятое из природы, остается внутри. Все это прошлые состояния дерева, которые сосуществуют с его настоящим.

Нам представляется уместной и другая метафора, позволяющая проиллюстрировать эту важную для Рикёра мысль, которую дает образ «большого взрыва». Миллиарды лет частицы материи летели от предполагаемого эпицентра взрыва и, пройдя свой путь, заняли то положение, в котором мы застали нашу Вселенную. Значит эти четырнадцать с половиной миллиардов не утекли в полное небытие, но остались здесь. Вот они, лежат между нами и другими звездами, в некотором смысле, их можно увидеть с помощью телескопа. В этом смысле космическое время тоже не проходит, а скорее накапливается.

Время проходит только для человека, поскольку каждое мгновение приближает его к смерти, за которой для него, предположительно, времени нет (пренебрежем здесь вопросом об осознании времени другими животными). Таким образом, перед нами предстают две ипостаси прошлого: прошлое как «бывшее» и прошлое как «минувшее». Рикёр обращает внимание на эту, как будто ничего не меняющую, игру слов. Однако первое акцентирует внимание на непрерывном присутствии прошлого в настоящем и в качестве настоящего, второе же напоминает о неизменной конечности всякого подлинного бытия. Подчеркнем, что такое двойственное понимание прошлого соответствует и отмеченному выше двойственному пониманию забвения: минувшее,

исчезнувшее соответствует забвению как «стиранию следов»; бывшее, пребывающее соответствует забвению-резерву. На наш взгляд, этот параллелизм представляет собой еще один важный шаг в переносе памяти из области психологии в область онтологии, что оказывается значимым и для исторического познания.

При этом «бывшее» и «минувшее» онтологически не равнозначны. Фундаментальным для всех поздних работ Рикёра является убеждение, что «бывшесть» прошлого преобладает над его «преходящестью», и основывается это убеждение, как мы полагаем, как раз на параллелизме прошлого и забвения. Воспоминания и вообще следы сначала возникают, сохраняются, пребывают, а затем, скорее в результате случайных факторов, чем по какому-то неизбежному закону они разрушаются, то есть возникновение, пребывание онтологически предшествуют разрушению и исчезновению.

Непоколебимая убежденность в преобладании «имевшего место» над «минувшим» служит твердым основанием для утверждения, что «у нас нет ничего лучшего, чем память», лежащего в основании всей рикёровской концепции историописания. В первую очередь «нацеленность на прошлое обусловлена ... тем, что оно «имело место», а не тем, что оно минуло и недоступно нашему желанию им овладеть» [Рикёр. 2004, с. 506]. То есть, несмотря на конечность человеческого времени и зыбкость человеческого существования, именно память запечатлевает «бывшесть» прошлого. Ведь если бы не память, мы вообще не могли бы получить никакого представления о времени. Так как мы не можем мыслить «само время», а, следовательно, и «само прошлое», именно память позволяет нам помыслить существование прошлого одновременно с настоящим, охватить предшествующее как неотъемлемую составляющую данного. Память (а затем история) является первым условием как сохранения «бывшего» прошлого, так и забвения «минувшего».

Такая онтологическая установка, что однажды бывшее не может отныне *не быть* становится дополнительным подкреплением идеи Бергсона о вечном

пребывании прошлого в настоящем и сохранении воспоминаний. Эта идея очень дорога Рикёру: «становление, которое длится, – в этом и состоит ведущая интуиция "Материи и памяти"» [Там же, с. 602]. Принимая идею Бергсона о сохранении воспоминаний в латентном состоянии, Рикёр выводит из нее тезис о том, что «любое настоящее уже в момент своего появления представляет собой собственное прошлое; ибо как оно могло бы стать прошлым, если бы не выступило в этом качестве в то самое время, когда оно было настоящим» [Там же, с. 600].

Идея латентности нуждается в пояснении. Бергсон заявляет: «Эта полнейшая бездейственность чистого воспоминания как раз и поможет нам понять, как оно сохраняется в латентном состоянии» [Бергсон, 1992. с. 247]. Бергсон полагал, что «чистому» воспоминанию, еще не вызванному на свет сознания, свойственны виртуальность, бессознательность и существование, сходное с тем, какое мы приписываем внешним предметам, когда не воспринимаем их. Рикёр отмечал, что если попытаться выразить суть «Материи и памяти» одной фразой, то «следовало бы сказать, что воспоминание "сохраняется само по себе"» [Рикёр, 2004. с. 601, прим. 18].

Ответ на вопрос «как сохраняются воспоминания?» может звучать так: скрытым, бездеятельным, виртуальным образом. Как резюмирует Рикёр: «Мы не воспринимаем сохранения образов, но предполагаем его и верим в него. Верить в него нам позволяет узнавание: то, что мы однажды видели, слышали, испытали, выучили, не окончательно утрачено, но продолжает существовать, поскольку мы можем о нем вспомнить и узнать его» [Там же, с. 601].

Таким образом, «Материю и память» Рикёр практически полностью кладет в основу собственной теории не только памяти, но и истории, но для этого он ре-интерпретирует основную идею книги в близких ему терминах разных видов записи, которые есть продолжение полисемии понятия следа: «запись в психическом смысле слова есть не что иное, как сохранение самого по себе (*par soi*) мнемонического образа, одновременного с первичным

опытом»¹⁰ [Ricoeur, 2000. pp. 569-570].

1.2.3. О возможности сохранения аффективных следов

Принимаемое Рикёром бергсоновское понятие «чистого воспоминания»¹¹, его свойство сохраняться, его полная независимость от мозга (и материи) доставляют определенные проблемы. Во-первых, привычка к пространственному мышлению требует ответа на вопрос «где?» – где же все-таки пребывают воспоминания, когда они скрыты. Рикёр предостерегает, что это ловушка нашего мышления. «Именно потому, что длительность, конкретное время, противостоит “пространственному времени”, применительно к памяти неуместен вопрос “где?”» [Блауберг, 2008. с. 71].

Например, такое понятие как «семиосфера», введенное Ю.М. Лотманом, также отсылает нас к различным пространственным метафорам: понятие «семиотическое пространство» и поиск его границ [Лотман, 1996. сс. 163-192]. Тем не менее, оно не требует от нас найти ему какое-то конкретное место, которое бы стало ответом на вопрос о том «где находится семиотическое пространство?» Это всего лишь интеллектуальная конструкция, метафора, позволяющая нам выразить то, что иначе было бы трудно обозначить.

Во-вторых, в последние 20-30 лет нейронауки добились выдающихся успехов в исследовании физиологических механизмов памяти, открыв, что запечатленный образ – это определенная схема взаимодействия нейронов. Так что часть вышеприведенного утверждения Бергсона об абсурдности идеи

¹⁰ В данном случае перевод «запись в психологическом смысле слова есть не что иное, как сохранение в нем самом мнемонического следа, одновременного с первичным опытом» [Рикёр. 2004, 608], хотя и не искажает смысл полностью, все же затрудняет понимание. Во-первых, не ясно, к чему относятся слова «в нем самом», во-вторых, речь не идет о психологическом смысле (во фр. тексте *psychique*), в-третьих, перевод слова *image* (образ) как «след» в данном случае представляется необоснованным, тем более, что Рикёр придает весьма определенное значение понятию образа применительно к воспоминаниям.

¹¹ Проблема чистого воспоминания, как отмечает Блауберг, – одна из наиболее сложных в книге Бергсона. Она комментирует это понятие таким образом: «Чисто» оно в том смысле, что не имеет никакой связи с настоящим, до поры не влияет на него. Как выясняется дальше ... чистое воспоминание существует в некоем виртуальном состоянии и становится реальным, актуализируется в процессе припоминания, приобретая форму образа-воспоминания, который принадлежит уже не прошлому, а настоящему [Блауберг, 2008. С. 67].

накапливания воспоминаний в мозгу уже научно опровергнута, хотя то, каким именно образом они становятся сознательными, пока еще похоже на чудо. Следовательно, утверждение Рикёра о том, что мозг не может нам дать ключа к ответу на вопрос о сохранении воспоминаний, может поставить под вопрос все его дальнейшие рассуждения об истории, которые он выстраивает на основе представлений о памяти. Согласно имеющимся научным данным, сознание неотделимо от материального носителя, а именно мозга, и, вероятно, любое содержание сознания так же требует носителя.

Тем не менее, нельзя сказать, что это опровергает третье допущение Рикёра о том, что его тезис о продолжении существования психического следа не вступает в противоречие с данными нейронаук. Все-таки вопрос о том, как электрические и химические сигналы мозга превращаются в сознание еще не получил своего разрешения. Так, известно, что для запуска физиологических механизмов образования долговременной памяти необходимо, чтобы сигналы преодолевали определенный порог значимости (см. Кандель, 2012, главы 17-19). Значимость того или иного сигнала определяется предыдущим опытом, но механизм этого влияния семантики на биохимию мозга пока неясен. Не исключено, что позиция Рикёра о сохранении аффективных следов не в нейронной сети еще найдет свое подтверждение.

Нейронауки занимаются изучением именно кортикальных следов, то есть цепочек взаимосвязей между нейронами. Анализ аффективного следа средствами философии, вовсе не предполагает пренебрежение данными нейронаук. Памяти угрожают разные опасности, и стирание кортикальных следов также есть повседневная форма угрозы забывания. Рикёр вполне признает, что без кортикальной основы никакая память и ментальная деятельность вообще невозможна. Так что «речь идет о двух различных типах знания о забывании – знании внешнем и внутреннем. Каждое из них обеспечивает и основания для доверия, и мотивы для сомнения» [Рикёр, 2004. с. 593].

Рикёр не отрицает роли мозга в ментальных процессах, но он утверждает

ограниченность его действия, иллюстрируя это разделение ролей с помощью примера с Сократом. В диалоге «Федон» Сократ рассуждает, что безусловно верно, что «без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею, – я бы не мог делать то, что считаю нужным». Но при этом совершенно неверно считать то, что его удерживают члены, единственной причиной его бездействия; тогда как подлинная причина того, что Сократ не бежит от казни, в том, что он сознательно повинуется законам общества. Таким же образом Рикёр полагает мозг условием и инструментом всякой психической деятельности, но не единственным ее вместилищем. Мозг имеет значение в самом процессе воспоминания: «Будучи органом действия, мозг оказывает влияние на само превращение «чистого» воспоминания в образ, то есть на процесс припоминания» [Там же, с. 596].

Может показаться удивительным, что в данном случае Рикёр остается на позициях жесткого разделения двух видов явлений: материального следа и нематериального следа-образа, хотя во многих других случаях он находил, а вернее, сам выстраивал пути от объективной реальности к феноменам сознания и обратно (как в случае с опосредованием «времени мира» и субъективного «времени жизни» через время истории). Тем не менее, мы видим как минимум два плюса в том, что Рикёр предпочел остаться на бергсоновских позициях четкого разделения материи и памяти. Возможно, именно осознание этих преимуществ заставило его не ступать на зыбкую для гуманитария почву нейронаук.

Первый плюс состоит в том, что отказ рассматривать чистое воспоминание в связи с каким-либо его материальным выражением позволяет Рикёру оставаться в рамках общей теории памяти, в том ее смысле, в котором память применима и к коллективам, и к металлам, и вообще означает способность системы изменяться и сохранять в себе следы этих изменений. Это одна из тех предпосылок, которые позволяют перейти от рассуждений об индивидуальной памяти к истории. Для этого, вероятно, придется вопреки Бергсону признать, что у чистого воспоминания есть носитель. Может быть, не

будет слишком опрометчивым предположение, что цепочки нейронных связей и есть физический эквивалент того, что Бергсон называл чистым воспоминанием. Но независимо от того, чем этот носитель является, мы можем выделять некую функцию чистого воспоминания и в других системах, не только в человеческой психике.

Второй плюс состоит в том, что таким образом Рикёру удастся оставаться в рамках феноменологии, исследуя именно субъективные процессы сознания (в отличие от их объективированного проявления). И.И. Блауберг приводит в одной из своих статей отсылку к интеллектуальной автобиографии Рикёра, где он писал, что «хотел распространить на сферу аффектов и воли тот эйдетический анализ операций сознания, который у Гуссерля применялся к восприятию и, шире, «репрезентативным» актам» [Блауберг, 2015. с. 78]. Ведь каких бы успехов не достигли нейронауки, пока трудно не согласиться с тем, «что мозг не может дать ключа к загадке сохранения прошлого в форме представления» [Рикёр, 2004. с. 598], и цепочка электрических импульсов в мозге никак не равна зазвучавшей в нашем мысленном пространстве мелодии. Поэтому мы вполне можем оставаться в пространстве психики, не задаваясь вопросом, как импульсы переходят в мелодию.

Тем не менее, очень важно, чтобы построения философов не противоречили данным нейронаук. Поэтому мы сопоставляем утверждения Рикёра с новыми данными, полученными в области когнитивных исследований. Это позволяет не только быть уверенным, что мы все еще находимся в сфере научных утверждений, но и позволяет поместить исследования не только памяти, но и истории и ее места в обществе в более широкий контекст, включающий не только поле гуманитарных, но и естественных наук. Заметим, что если какие-то явления действительно имеют место в человеческом сознании, рано или поздно, им находится научное, вполне физическое объяснение. В данном случае, для Рикёра некоторые выдвинутые Бергсоном идеи важнее их материального выражения, в первую очередь это установление на основе теории Бергсона скрытого значения слова «пребывать» как синонима

слова «длиться». Кстати, вторая значимая для Рикёра идея Бергсона о сохранении воспоминаний как особого имемориального¹² ресурса тоже нашла уже свое подтверждение средствами нейронаук (см. Балабан, 2014; Фаликман, 2015).

Таким образом, идея психического следа является мыслительной конструкцией, как, допустим, число i , мнимая единица, которое существует только в пространстве мысли, но которое, тем не менее необходимо для решения определенных задач, находящих впоследствии применение в науке. Если же нам все-таки потребуется найти какое-то проявление существования психического следа в реальности, то возможно, нам поможет тезис Рикёра, согласно которому «материальный след весь целиком пребывает в настоящем и для того, чтобы обозначить, что он есть образ прошлого, его необходимо наделить семиотическим измерением» [Там же, 598]. Возможно, то, что Рикёр называет аффективным или психическим следом и есть семиотическое измерение кортикального следа, но в целях анализа оно может быть отделено от своего материального проявления. Но пока это всего лишь гипотеза, рассмотреть которую в данном исследовании не представляется возможным.

Прояснив основания идеи о сохранении психических следов, обратимся к рассмотрению четвертого допущения о том, что «сохранение впечатлений-аффектов самих по себе может пониматься как форма глубокого забвения, равно как и забывание из-за стирания следов» [Ricoeur, 2000. p. 570]. В поддержку данного допущения Рикёр приводит следующие аргументы:

1) Имеется определенная двойственность в отношении забывания: с одной стороны, мы постоянно испытываем разрушение памяти, но с другой стороны, воспоминания зачастую возвращаются уже будучи, казалось, навсегда потерянными. Значит, как утверждает Рикёр, «мы забываем меньше, чем нам кажется» [Рикёр, 2004. с. 610]. Этот аргумент, как мы только что заметили, поддерживается и нейронауками.

¹² Снова отметим, как сами значения слов работают на концепцию Рикёра: имемориальный (immémorial) во французском языке означает «незапамятный, древний», а второе значение – «выпавший из памяти».

2) Кроме того, есть, как выражается Рикёр, «различные опыты», которые отдельные, частные эпизоды узнавания расширяют до постоянной экзистенциальной структуры. Мы полагаем, что здесь подразумевается узнавание как одна из основ способности познавать мир, мыслить, и в целом способность постоянно находить мир все тем же.

3) Третий аргумент можно назвать «обращением к онтологическому». Он основывается на возможности узнать, вспомнить, обратиться к тем глубинным истокам «жизненной и творческой силы истории», которые «никогда не были для меня событием» или чем-то воспринимаемым. Эта «порождающая мощь» в то же время причастна к «основополагающему забытому» [Ricoeur, 2000. p. 571-572], этому незапамятному истоку всего живого и творческого. Возможность «человека могущего» черпать из этого имемориального ресурса для Рикёра также есть подтверждение того, что забвение представляет собой скрытое сохранение следов.

Можно задаться вопросом, зачем постулировать сохранение следов как забвение? Если следы действительно сохраняются, почему бы не отнести их к области памяти? Тогда под забвением понимались бы те области, где следы отсутствуют. Мы полагаем, что и здесь Рикёр, как всегда, идет от наличного смысла слов, открывая дополнительные измерения значений как новые возможности. На наш взгляд, причина, по которой Рикёр остается на этой позиции состоит в том, что забыть можно тогда, когда есть возможность понять, что нечто забыто, когда есть след-напоминание, но еще не ясно, о чем именно он напоминает. Полное отсутствие следов – это уже амнезия, в смысле области, лежащей вне памяти или забвения. Вторая причина состоит в том, что есть рефлексивная область забвения, когда следы событий сохраняются, но в силу работы забвения они оттесняются на все большую глубину в соответствии с предложенной схемой (рис).

Еще более важно для Рикёра подчеркнуть это диалектическое единство или «первичную равнозначность разрушающего забвения и забвения основополагающего» [Ricoeur, 2000. p. 574]. Признание этой неразделимой

двойственности ставит забвение в один ряд с Кроносом, пожирающим своих детей – временем созидающим и разрушающим, и в один ряд с самой природой, которая растит новые цветы из той почвы, которую удобрили их предшественники. «Важно, что мы проникли в сферу забвения под знаком первичной двойственности. Мы не расстанемся с ней до конца этой работы – ведь двойное значение разрушения и постоянства, приходя из глубин забвения, как будто бы вновь и вновь воспроизводится в поверхностных слоях забвения [Рикёр. 2004, с. 611].

Таким образом, для Рикёра «забывание означает незаметный характер постоянного сохранения воспоминаний, уклонение от бдительного контроля сознания» [Рикёр. 2004, с. 610]. Забывание – это в первую очередь выпадение из области сознания. Тогда работа памяти-воспоминания состоит в разыскании следов, формирование определенного образа прошедшего на основе этих следов и водворение его в сознательную область. Для Рикёра в первую очередь важно подчеркнуть «тот позитивный аспект забвения, в силу которого оно не является только врагом истории и памяти, а представляет собой особый имемориальный ресурс» [Блауберг. 2008, с. 73].

1.3. Воспоминание и воображение

Как было показано в первом пункте данной главы, то что относится к памяти как воспоминанию (а не привычке) требует интеллектуального усилия (как и работа творчества), отмечено рефлексивностью, не основано на непосредственном восприятии и в целом по ряду признаков является результатом работы воображения. Вспомним, однако, что работа по построению феноменологии памяти велась в первую очередь для того, чтобы отделить воспоминания от воображаемого. Пока же Рикёру удалось установить лишь неустранимость воображения из работы памяти. Но как это часто случалось и с другими препятствиями, Рикёр превращает его в неотъемлемое свойство, работающее на лучший результат. Рикёр демонстрирует, что существуют

минимум два разных типа воображения, один из которых вполне может заслуживать доверия в качестве основания научного познания.

1.3.1. Два модуса воображения: ирреализирующий и визирующий

Сначала Рикёр пытается исследовать вопрос, не удастся ли все-таки выявить сущностное различие между воспоминанием и образом, чтобы как-то отделить рождаемую воображением образность от сущности воспоминания. Он отталкивается от различия, признаваемого между воображением и воспоминанием, которое состоит «с одной стороны, в свойственном воображению отвлечении от реальности и видении ирреального, а с другой стороны, в свойственном памяти полагании предшествующей реальности» [Ricoeur, 2000. p. 54].

Далее, Рикёр опять отталкивается от идей Гуссерля, который за основу презентации восприятием какой-либо вещи взял «простое и чистое представление», а все остальные образы он относил к презентификациям¹³. В восприятии объект сам себя презентифицирует непосредственным образом. Презентификации Гуссерль разделяет на Bild и Phantasie. Bild – это презентификации, которые изображают вещь косвенно (не непосредственно): портреты, картины, фотографии, Рикёр предлагает переводить это слово как «изображение» (dépiction). Говоря о Phantasie Гуссерль имеет в виду образы несуществующих объектов – фей, ангелов, то есть речь идет о вымысле. Анализ Phantasie Рикёр оставляет в стороне, сосредотачиваясь на тех свойствах Bild (изображений), которые отличают их от вымысла (для самого Гуссерля это так и осталось проблемой).

Рикёр полагает, что раздел между Bild и Phantasie проводит «непрезентифицирующая интуитивность» [Рикёр, 2004. с. 76], которая очерчивает поле вымысла (Phantasie). Поскольку воспоминание есть своего рода интуитивная презентификация, имеющая дело со временем, то его можно соотнести как с

¹³ Презентификация – все способы представления с помощью воображения.

Bild, так и с Phantasie. Если сделать акцент на не-презентации, на отсутствии вещи, то оно соотносится с Phantasie, к которой можно присоединить временную отметку (как говорилось выше, вторичное воспоминание не есть удержание, ретенция, которая и представляет собой презентацию, следовательно, воспоминание есть не-презентация). Если же сделать акцент на том, что воспоминание все-таки воспроизводит вещь, делая ее присутствующей, несмотря на отсутствие, «тогда вырисовывается родство с Bild, который, помимо приведенных выше примеров, охватывает все поле «изображенного» (das Abgebildete), то есть косвенной презентификации, основанной на самой представленной вещи» [Там же, 77].

Воспоминание как Bild включает в себя и позициональное измерение (т. е. имеет место в пространстве и времени), что в данном отношении сближает его с восприятием. Таким образом, как прошлая «вспомненная вещь» является фантазией, но как явленная заново – модификацией восприятия. Однако продолжая рассмотрение поисков Гуссерля, Рикёр указывает на то, что в дальнейшем Гуссерль пришел к выводам противоположным, исключающим родство воспоминания с Bild: поскольку воспоминание есть специфическая модификация презентации (конституируемой ретенцией), следовательно, оно не может быть рассмотрено как презентификация (коей является изображение в смысле Bild). Здесь акцент делается на модусе осуществления, отделяющем репродуцирование от продуцирования.

Анализ Гуссерля не является вовсе безрезультатным, для Рикёра важно продемонстрировать эту непрекращающуюся игру фантазии с реальностью, где они переплетаются так тесно, что невозможно разделить их средствами одной только логики, которой неизменно стремится придерживаться Гуссерль. Эта игра продолжается и далее, когда Рикёр обращается к работам Бергсона, чтобы разобраться до конца со всей сложностью взаимоотношений воспоминания и образа. Бергсон противопоставляет «чистое воспоминание», которое в системе Рикёра находится на полюсе привычки и характеризуется спонтанностью, и «воспоминание-образ», которое находится на противоположном полюсе

рефлексивной памяти. Сам Бергсон утверждал, что спонтанное воспоминание носит законченный характер, время ничего не сможет прибавить к его образу. Воспоминание-образ есть результат смешения «памяти, которая воображает» с «памятью, которая повторяет». Но это смешение должно быть отмечено чувством уже виденного, то есть узнаванием.

Рассмотрев вышеприведенные точки зрения, Рикёр все-таки предлагает рассматривать воспоминание как образ. Тогда оно сближается с восприятием, то есть, подчеркивается, что вспомненное было воспринято, а значит, действительно имело место в прошлом. Таким образом, Рикёр утверждает, что прошлое является конечным референтом акта воспоминания. Операция превращения «чистого воспоминания» в образ – это переход от виртуального к действительному как бы материализация бесплотного феномена. Это движение самой пребывающей в работе памяти, которое «возвращает воспоминание в атмосферу настоящего, что делает его похожим на восприятие» [Там же, 82]. Небезразлично, однако, какого рода воображение участвует в работе по смешиванию этих двух видов памяти. Это оказывается особого рода воображение. «Вопреки ирреализирующей функции, которая достигает своего апогея в вымысле, ... в данном случае превозносится именно визирующая функция, ее способность давать увидеть» [Там же, 83]. Именно дающее увидеть воображение превращает «чистое воспоминание» в образ.

Ту же роль, которую выполняет воображение в процессе конструирования воспоминания, оно, по мысли Рикёра, играет и в написании истории. Следует отметить, что он не первый, кто обнаружил воображение в самой глубинной основе исторического познания. Хайден Уайт продемонстрировал работу воображения даже на уровне глубинной структуры исторического повествования, выстроенного, по его мнению, на основе фигур речи. Некоторые из сторонников Уайта пришли к выводу, что история вообще не имеет какой-либо связи с реальностью. В последние пятьдесят лет эта идея породила ряд дискуссий, а также стала одной из причин недоверия к исторической науке.

Такое внимание Рикёра к проблеме воображения, как мы полагаем,

вызвано в первую очередь тем, что драматизм этого спора порожден как раз упрощенным пониманием феномена воображения вообще: как будто воображаемое автоматически обозначает вымышленное. Рикёр показывает, что последователи идей Х. Уайта как раз подняли на знамена именно иррационализирующую функцию воображения, отчего их рассуждения завели историческую науку в тупик. Справедливости ради отметим, что обнаружение этой функции в самом сердце писания истории – очень важный момент построения адекватной исторической науки. В первую очередь историку необходимо осознавать опасность спутать ирреализирующее воображение с визирующим. Но нельзя сводить участие воображения в работе ученого только к первому его модусу. Уже со времен Платона и Аристотеля воображение понималось как особая познавательная способность: как посредник между чувственным ощущением и рациональным дискурсивным мышлением. В последующем Плотин считал, что воображение с одной стороны, собирает данные чувственного восприятия воедино, а с другой – отражает акты умственной деятельности, представленные в дискурсивном мышлении.

В Новое время Кант существенно развил представления о воображении. Согласно Канту, воображение как способность созерцать предмет даже при отсутствии самого предмета делится на продуктивное и репродуктивное. Репродуктивное воображение позволяет мысленно воспроизвести, что уже было увидено, и подчинено эмпирическим законам ассоциации. На этой способности человека основана в частности возможность индивидуальных воспоминаний и свидетельских показаний. Продуктивное воображение – чистое воображение, – как полагал Кант, есть «основная способность человеческой души, лежащая в основании всех априорных знаний» [Кант, 1999. с. 145]. Продуктивное воображение доставляет рассудку схемы, которые лежат в основе чистых чувственных понятий, благодаря которым (схемам) становится возможным представить образы.

Таким образом, практически с самого начала своего появления в поле зрения философии, понятие воображения воспринималось как основа

познавательных способностей человека. В современной науке существует большой разброс мнений относительно роли воображения в познании. Но мы будем опираться на философскую традицию, хотя бы потому, что история имеет дело с явлениями, уже недоступными созерцанию, и именно постулирование возможности воображения явить отсутствующую вещь делает труд историка не совсем безнадежным. Об этом писал Коллингвуд: «Воображение ... способность, без которой, как показал Кант, мы никогда не смогли бы воспринимать мир вокруг нас, необходимо в том же самом смысле и для истории. Именно оно, действуя не произвольно, как фантазия, а в своей априорной форме, осуществляет всю конструктивную работу в историческом познании» [Коллингвуд, 1980. с. 230].

Именно так понятое воображение участвует в работе памяти и в работе историка, как их понимает Рикёр. Так же как он предостерегал от зацикливания на понятии памяти как слабом инструменте, не заслуживающим доверия, так же он предлагает не воспринимать воображение лишь в скептическом ключе. Воображение является неотъемлемой составляющей научного познания, и мы будем еще обращаться к этому, когда речь пойдет непосредственно о работе историка. Но при таком подходе нельзя обойти вниманием проблему того, как возможно отличить воображение в его продуктивном, дающем увидеть воплощении от его иррационализирующего модуса?

1.3.2. Различение двух модусов воображения

В качестве попытки ответа на этот вопрос можно рассмотреть интерпретацию Рикёром сартровского анализа феноменов воображаемого (предпринятого последним в его труде «Воображаемое»). Для Сартра «тип существования образного объекта ... по природе отличается от типа существования объекта, схватываемого как реальный... Этого сущностного небытия образного объекта достаточно, чтобы отличать его от объектов восприятия» [Сартр, 2001. с. 297]. В такой интерпретации Рикёр полностью

соглашается с Сартром. В некотором смысле, поиски Рикёра, предпринятые им с опорой на Гуссерля и Бергсона вели к тому, чтобы каким-то образом строго обосновать то, что Сартр просто постулировал. Поэтому слова Сартра так хорошо подходят для того, чтобы резюмировать стремление Рикёра, следуя идее реальности, доказать, что воспоминание находится на стороне восприятия: «есть ...существенное различие между тезисом воспоминания и тезисом образа. Если я вспоминаю какое-нибудь событие из моей прошлой жизни, я не воображаю его, я его вспоминаю, то есть полагаю его не как отсутствующее данное, а как прошлое, данное в настоящем» [Там же, с. 299].

Однако и внутри всего множества феноменов воображаемого Рикёр находит место для противопоставления. Он полагает, что внутри воображаемого есть свои полюса: вымысел и галлюцинация. Линия раздела между ними проходит там же, где и в паре оппозиций «рефлексивное – самопроизвольное». Вымысел – это то, что характеризуется интеллектуальным усилием, это работа творчества по продуктивному переустройству реальности. Галлюцинация же – это наваждение, отделяющее субъекта от реальности, неподвластное ему и нереклексивное. «По нашему мнению, зрительные или слуховые галлюцинации сопровождаются временным разрушением восприятия» [Там же, с. 258]. У Сартра галлюцинация фигурирует как «патология воображения».

Сартр сравнивает воображение с колдовством, материализующим вещь, чтобы ею можно было обладать. Это колдовство уничтожает отсутствие и расстояние. И все-таки, полагая объект в своем воображении, мы помним о модусе «сущностного небытия», тем самым, отдавая себе отчет в том, что объект на самом деле нереален. Вымысел преодолевает дистанцию во времени и пространстве, тем не менее сохраняя ее. Галлюцинация же полностью уничтожает всякое осознание дистанции. Это опьяняющее «головокружение, вызванное, в частности, уклонением от запрета» [Там же, с. 299].

Таким образом, как мы полагаем, исходя из рассуждений Рикёра можно предположить, что он предлагает рефлексивность в качестве маркера,

позволяющего избежать ловушки иррационализирующего воображения, во всяком случае, в его галлюцинаторном проявлении. Мы можем понять, что зашли на запретную территорию, когда объект нашего полагания вдруг стал непосредственно близок, мы можем понять это по исчезновению той самой инаковости (см 1.1.), по отсутствию дистанции. Квазиприсутствие – вот один из маркеров галлюцинации. Отследить же это «квази», это отсутствие дистанции возможно по отсутствию затруднения и интеллектуального усилия, необходимого для его преодоления.

Другой маркер – это произвольность, навязчивость воображаемого объекта, который оказывается как бы само собой разумеющимся. Зачастую его присутствие навязывает образ действий и сковывает самостоятельность поступков и суждений. При этом, как отмечает Сартр, опираясь на наблюдения практикующих психиатров, «галлюцинаторный материал весьма скуден ... в случае зрительных (галлюцинаций) – несколько все время повторяющихся форм и персонажей. Таким образом, галлюцинации представляют собой периодическое воспроизведение некоторых (звуковых и визуальных) объектов» [Там же, с. 262]. Так что навязчивая повторяемость ограниченного числа сюжетов тоже должна насторожить субъекта, желающего избежать ловушки «патологии воображения».

Но можно ли опознать эту галлюцинаторную навязчивость воображаемого объекта? Может быть, только задав себе вопрос «почему я действую именно так?», «почему я думаю именно так?», но самое главное: «могу ли я представить, что это НЕ так?» Галлюцинация не оставляет места для инаковости и не допускает такой возможности. Конечно, здесь мы все-таки рассуждаем не о случае галлюцинаций, которыми занимается психиатрия, но лишь о памяти, которая может сыграть с нами злую шутку, подсовывая подозрительные воспоминания. В случае индивидуальных нарушений памяти галлюцинаторного типа, субъект сталкивается с тем, что другие не помнят тех объектов, что помнит он, и отрицают их существование. При попытке совершить какие-то действия, опираясь на эти ложные воспоминания,

последствия могут оказаться неадекватны ожиданию.

Проблема в том, что осознать отсутствие дистанции или инаковости можно только при наличии какого-либо толчка извне, с той стороны, что обозначена как «принадлежность миру». Такой толчок заставит нас заподозрить, что дело может быть нечисто. Это иной путь (отличный от того, каким подошел Рикёр) к утверждению Мориса Хальбвакса, что «чтобы вспоминать, нужны другие» [Рикёр, 2004. с. 169]. Здесь это утверждение означает, что другие могут указать тебе на то, что воспоминания, кажущиеся тебе очевидными и ясными, не соответствуют событиям прошлого. Это указание выявляет затруднение, которое вызывает интеллектуальное усилие. Этот импульс заставляет привлекать рефлексивный модус памяти, запускающий процесс вспоминания, который может увенчаться (или нет) успешным узнаванием. Когда речь пойдет о взаимоотношениях истории и общества, мы будем подробнее анализировать ловушки, рассмотренные здесь чисто теоретически, и выяснять, как они проявляются в отношении коллективной памяти.

* * *

Подведем итог. В данной главе предпринята экспликация взглядов Рикёра по поводу памяти в ее способности служить адекватной репрезентацией окружающего мира, включая его временной аспект. Исходя из проделанной работы, можно утверждать следующее. Воспоминание есть образ, который является результатом работы воображения по превращению чистого воспоминания (которое, вероятно, соотносится с ретенцией Гуссерля) в воспоминание-образ или (вторичное воспоминание). Есть воображение полагающее и есть воображение ирреализующее. Связь между ними состоит в том, что в обоих случаях воображаемый предмет отсутствует в данный момент в восприятии. Различаются они по наличию предметного коррелята воображаемого предмета, по осознанию его сущностного бытия или небытия,

основанного на претензии памяти на верность. Но при этом, воспроизведение не предполагает, что воспроизводимое вообще было в восприятии. То есть, расхождение между удержанием и воспроизведением не является непрерывным, оно дискретно. Тогда определить, имеет ли воспоминание-образ некий коррелят в прошлом и сохраняет ли память претензию на верность можно по сохранению дистанции и осознанию возможной инаковости объекта по отношению к содержанию воспоминания. Это удостоверяется чувством узнавания, венчающим успешный поиск.

Рассмотрением различных аспектов возможности памяти репрезентировать реальность Рикёр подготавливает условия для дальнейшего выстраивания концепции исторического познания. Прделанная работа в данной главе позволяет обнаружить механизмы глубинной связи истории с жизненным миром человека. Эта связь осуществляется через память и ее «затемненную сторону» – забвение как резерв. Память, стремясь представлять реальность по возможности адекватно, далее передает этот репрезентативный импульс истории. Основываясь на своем убеждении, что память есть матрица истории, Рикёр помещает историю обратно в социальную реальность, можно сказать просто – в жизнь. На наш взгляд, это очень важный шаг, поскольку в последние десятилетия теоретические проблемы истории рассматривались почти исключительно в контексте парадигмы знания, нарратива, на уровне процедур исторического познания, как будто история – это что-то совершенно отдельное от общества, о котором она повествует. Однако связь с памятью возвращает историю обратно в мир людей.

Рассмотренные в данной главе детали представления Рикёра о памяти оказываются чрезвычайно важными и для последующего рассмотрения истории. Так же как и в отношении памяти, Рикёр полагает, что воображение есть не препятствие, а условие возможности исторического познания. Однако история обладает иным набором инструментов для отличения образов прошлого, которые имеют предметный коррелят, от образов ирреальных. Визирующая функция воображения может быть названа «остенсивной» – она

дает увидеть то, чего нет в данный момент. Благодаря именно этому свойству, по мнению Рикёра воображение способствует тому, что «писание истории включается в авантюру по превращению воспоминаний в образы воспоминаний под эгидой остенсивной функции воображения» [Ricoeur, 2000. p. 66]. О взглядах Рикёра на историю как наследницу и соперницу памяти речь пойдет в следующей главе.

Глава 2

ИСТОРИЯ КАК НАУКА И РАССКАЗ О ПРОШЛОМ

Долгое время история отождествлялась с памятью, что выражалось в расхожем выражении «история – это память народа» и ему подобных. Однако, как было показано в первой главе, память представляет собой целый комплекс феноменов, которые очень трудно уместить в рамки только одного понятия, поэтому такое отождествление, если вдуматься, очень вредит истории. Кроме того, память может находиться в совершенно разных позициях относительно истории. В последние десятилетия история обратила свое внимание на память как объект исследования, наряду со смертью, детством, телесностью и прочими явлениями, далекими от событийной истории. При этом в новейшее время появилось такое явление как политика памяти, которое довольно часто конфликтует с историей.

Рикёру удалось взглянуть глубже этих противопоставлений, лежащих на поверхности. Очень важно то, что к проблемам истории он обратился не ради них самих, а поскольку это было неизбежно при его исследовании благой жизни «человека способного» (*l'homme capable*) вместе с другими людьми. Именно поэтому, в результате обращения к проблемам личности и совместной жизни, Рикёр поставил сначала вопрос о памяти и смог увидеть ее сложную, диалектическую связь с историей. Подводя итог своим многолетним исследованиям в этом направлении в книге «Память. История. Забвение» он так охарактеризовал суть этих отношений: «Моя книга представляет собой речь в защиту памяти как матрицы истории, поскольку она является хранильницей проблематики, касающейся репрезентативного отношения настоящего к прошлому» [Рикёр, 2004. с. 127].

Наряду с этим утверждением, Рикёр подчеркивал и соперничество между собой памяти и истории, и даже враждебность в некоторых обстоятельствах. Он предупреждал, что если забыть о важных различиях между ними, то каждая из них может стремиться поглотить другую, а это приводит к серьезным

проблемам. Рикёр отстаивает идею независимости и взаимной дополнительности истории и памяти, что выражается в его концепции истории как *научной наследницы* памяти. В данной главе будет поэтапно рассмотрено отделение истории от памяти, начиная с того, что их неразрывно связывает, через их соперничество к научной независимости истории.

2.1. Память как матрица истории

Понятие матрицы очень удачно описывает отношения истории и памяти. С одной стороны, рассмотрение памяти в качестве матрицы истории ни в коем случае не предполагает их слияния, поглощения одного явления другим, или взаимозаменяемости. Это всегда два разных явления. Но с другой стороны, память задает истории определенные черты и особенности и очень важные механизмы действия.

Для лучшего понимания сути матричных отношений между памятью и историей интересно посмотреть на богатство значений французского слова «matrice». Образность языка Рикёра соединяет в его трудах логические построения с остроумными метафорами, что помогает раскрыть его подход с неожиданной стороны. Во французском языке слово «matrice», помимо значения «матрица» в различных смыслах, имеет также значения: штамп, реестр налогоплательщиков, цементирующее вещество и дешифратор. Каждое из этих значений уже выражает определенный аспект отношений истории и памяти, так или иначе проявляемый Рикёром. Однако первым словарным значением слова «matrice», произошедшего от латинского «matrix», является «матка». Таким образом, перед нами предстает удивительный образ происхождения истории из лона памяти, подразумевающий на заднем плане также и метафору генетической преемственности.

Утверждение о том, что память является матрицей истории также скрывает за собой разнообразные отношения. Для анализа преемственности между историей и памятью мы выделили несколько аспектов. Как мы полагаем,

в качестве основного содержания этих отношений можно выделить следующее:

- в памяти берет свое начало и сохраняется проблематика репрезентации прошлого в настоящем
- память придает истории репрезентативный импульс посредством свидетельства;
- память передает истории парадигму дистанции и усилия рефлексивной памяти по разысканию воспоминания;
- посредством события память передает истории нарративную структуру.

Задача данного параграфа состоит в том, чтобы разобрать и прокомментировать все эти функции и таким образом определить, что общего между историей и памятью и как именно память служит матрицей истории. Ставятся следующие вопросы: какие именно черты истории определяются ее связью с памятью; как они реализуются в рамках историописания; каковы границы этих матричных взаимоотношений между историей и памятью?

Каждой из функций посвящен отдельный пункт. То что было сказано в первой главе о памяти должно существенно облегчить их разбор и позволяет сосредоточиться в первую очередь на том, что касается истории.

2.1.1. Наследственность репрезентативной проблематики

Как мы полагаем, самая глубинная суть отношений между памятью и историей состоит в том, что основополагающие для истории онтологические и эпистемологические проблемы коренятся в памяти. Очень значимо именно то, что память продолжает оставаться «хранительницей проблематики репрезентативного отношения настоящего к прошлому» [Ricoeur, 2000. p. 106]. В этом состоит важнейшая роль памяти как матрицы истории.

Таким образом, Рикёр неустанно подчеркивает действительную невозможность заново увидеть то, что единожды было воспринято и противостоящую этому обстоятельству неустранимость факта «бывшести»

воспринятого. Даже если мы увидим фотографию или видеозапись прошлого события – это не будет полным повторением нашего восприятия этого события в тот момент, когда оно происходило. Но мы можем узнать на фотографии то, чему мы когда-то были свидетелями. Проблема недоступности прошлого много раз обсуждалась в течение XX века еще до так называемого «лингвистического поворота», но, конечно, особенно остро после него¹⁴. Первоначально защитники истории полагали, что этой критике можно дать отпор, если найти более строгие методы, логические ходы, которые приведут историю в «реальное прошлое». Но по мере того, как стало понятно, что мы и окружающий нас в данный момент мир не видим таким, какой он есть на самом деле, пришлось расстаться с иллюзией «наивного реализма».

Рикёр в своей концепции исторического познания исходит из той же предпосылки недоступности прошлого, которая очевидна на уровне индивидуальной памяти (см 1.3). Память не может обратиться к самому прошлому, но лишь к следам, которые оставило это прошлое, и к построенному с опорой на эти следы образу-репрезентации прошлого. Рикёр, конечно, абстрагируется от всех физиологических процессов, обеспечивающих наше восприятие и остается в рамках феноменологии и логики. Он заимствует у Гуссерля противопоставление актов импрессии, ретенции и репродукции. Импрессия необходимо предшествует ретенции, но последняя является уже модифицирующим актом, она создает образ, который отсылает нас к тому, первоначальному образу.

В этом состоит суть репрезентативной проблематики: «присутствие того, что отсутствует». Свое понимание этой проблематики Рикёр выводит из анализа Аристотеля, в особенности его трактата «О памяти и припоминании». В первую очередь Рикёр опирается на представления Аристотеля о проблеме *eikôn* (образа, изображения), в особенности он выделяет два аспекта. Во-первых, для Рикёра важно, что Аристотель обращает внимание на то, что вспоминать само воздействие и то, что его вызвало, – это не одно и то же: «Если воздействие

14 Например: Коллингвуд 1980, Уайт 2002, Анкерсмит 2003, Барг 1987.

похоже на отпечаток или рисунок в нас, то почему восприятие этого отпечатка будет памятью о чем-то другом, а не о самом этом отпечатке?» (450b15–18). Для Рикёра это первый шаг к тому, чтобы ввести «категорию инаковости в самое сердце отношений между *eikôn*, воспринимаемым как зафиксированный образ, и первоначальным чувством» [Ricoeur, 2000. P. 24]. Для Платона отношение между первичным впечатлением и сохраняемым в душе образом – это отношение копии, ведь естественно, что изображение на перстне будет идентично изображению, оставленному им на воске. Кроме Аристотеля долгое время никто не сомневался в одинаковости этих двух образов. Небезразличный к понятию сущности, он обратил внимание, что, несмотря на несомое изображение, это все-таки два разных предмета, бытие их различно.

Во-вторых, Аристотель развивает само понятие *eikôn*, то есть метафору рисунка. Собственно, если в нас хранится отпечаток или рисунок вещи, и это не то же самое, что сама вещь, то почему мы помним именно об этой вещи, хотя она отсутствует, а отпечаток присутствует? Ведь тогда можно «помнить» и такую вещь, которая в принципе отсутствует. С одной стороны, это могут быть собственные мысли и рассуждения, но так же это могут быть ложные образы. Тогда Аристотель вводит новое различие, которое очень занимает Рикёра: понятие рисунка он разделяет на собственно рисунок как объект и на то, что он изображает: «находящееся в нас представление нужно полагать и чем-то самим по себе существующим, и относящимся к чему-то другому» (450b24–26).

Это первоначальное разделение *eikôn* на изображение само по себе и *иное*, то, на что оно указывает, будет постоянно фигурировать в концепции Рикёра в качестве основы репрезентации: «Действительно, в понятие рисунка следует включить отсылку к иному; иному, нежели запечатление как таковое. Отсутствие как иное присутствия!» (Там же, 21). Нынешнее отсутствие должно указывать на присутствие в прошлом, но не любое отсутствие, а лишь помеченное следом. Сам след становится репрезентацией только в сочетании с отсутствием, указывающим на предшествовавшее присутствие.

Таким образом, Рикёр находит, что в представлении Аристотеля память

сама по себе становится когнитивной способностью. Ведь согласно трактату нет больше никакого контролирующего органа, который сверял бы образы в памяти и явления внешнего мира, указывая на их соответствие или несоответствие. Аристотель отмечает, что иногда «рассматривая представление как нечто самостоятельное, мы изменяемся и начинаем рассматривать его как относящееся к другому» (451a7–8). Переключение с изображения как такового на изображение чего-то иного – это дело самой памяти, но это *иное* с необходимостью должно предшествовать памяти. «Вопреки ловушкам, которые воображаемое устраивает памяти, можно утверждать, что специфическое требование истины внутренне присуще нацеленности на прошлую “вещь”, на что-то прежде виденное, слышанное, испытанное, воспринятое. Это требование истины определяет память как когнитивную способность» [Ricoeur, 2000. p. 86].

Рикёр обращает внимание на противоречие, которое возникает между *eikōn* и *typos*, если внимательно проанализировать эти понятия. Это противоречие осталось незамеченным ни Аристотелем, ни его исследователями, но оно имеет решающее значение для понимания проблемы Рикёром. Метафора *typos* (отпечатка) отсылает к внешнему воздействию, к тому что оставило отпечаток, и требует идентичного материального следа. Метафора *eikōn* (образа) в свою очередь предстает у Аристотеля как рисунок, что подразумевает, если вдуматься, не пассивное претерпевание запечатления, но активное участие в создании образа предмета. Аристотель не придает значения этому различию, полагая по умолчанию подобие между образом-отпечатком и образом-рисунком: «воздействие похоже на отпечаток или рисунок в нас» (450b16).

Однако Рикёр внимателен к подобным деталям и анализируя эти образы приходит к убеждению, что «с феноменологической точки зрения это понятия разного порядка: *eikōn* содержит в себе *иное* первоначального впечатления, в то время как *typos* вводит в игру внешнюю причинность воздействия (движение, *kinesis*), производящего отпечаток на воске» [Ricoeur, 2000. p. 81]. В интерпретации Рикёра метафора *typos* (как и *eikōn* Аристотеля) распадается на

два образа: саму печать, несущую изображение, и внешнюю (для души) причинность воздействия, оставляющего оттиск.

Именно уравнивание *eikôn* и *typos*, внешне близких, но при анализе весьма различных, может завести исследования памяти в тупик: «соединение внешнего воздействия и сущностного подобия» Рикёр считает «крестом, который несет вся проблематика памяти»¹⁵ [Там же, 21]. Вероятно, Рикёр полагал, что этот крест история также приняла от памяти: неразличение пассивного характера следов и активного характера запечатлевания образа прошлого стоило ей потери ее общественного положения. Если же признать различие между *eikôn* и *typos*, тогда можно будет задаться вопросом, а каковы на самом деле «отношения между внешней причиной – "движением" – производящей отпечаток, и первоначальным чувством (*l'affection initiale*), данным в воспоминании и через него?» [Там же, 24]. Этот вопрос позволит вывести из тупика изучение памяти и изучение истории, позволит вернуть истории ее активную позицию.

Это различие между первоначальным впечатлением и хранимым впоследствии образом памяти, но с опорой на Бергсона и Гуссерля, Рикёр и кладет в основание своей концепции памяти и истории как репрезентации прошлого. Некое первоначальное, произвольное восприятие (*typos*) под действием работы памяти и воображения превращается в образ-репрезентацию воспринятого (*eikôn*). В нем происходит отделение значимого от незначимого, выстраиваются логические связи, неуловимые при первоначальном восприятии. Но чтобы оставаться репрезентацией прошлого, образы памяти (*eikôn*) с необходимостью должны указывать на **иное**.

Тут мы как раз сталкиваемся с фундаментальной **инаковостью**, которая является неотъемлемой составляющей многих построений французского философа. Первое проявление инаковости в целом понятно и ожидаемо, но оно

15 «Cette conjonction entre stimulation (externe) et ressemblance (intime) restera, pour nous, la croix de toute la problématique de la mémoire». В русском переводе работы «Память, история, забвение» под ред. И.С. Вдовиной: «Это совпадение между воздействием (внешним) и похожестью (внутренней) будет главным для нашего изучения проблематики памяти», что, на наш взгляд, противоречит словарному значению слова «croix» и контексту.

еще не всегда присутствует в горизонте сознания. Это фундаментальное различие того, что имеет место в мире, и того, как это отражается в нашем восприятии. Для того, чтобы быть узнанной, прошлая вещь, вернее первичное впечатление от нее **должно быть иным**. «Именно в качестве иной, происходящей из иного прошлого, она (*прошлая вещь*) узнается как та же самая. Эта сложная инаковость сама демонстрирует уровни, соответствующие уровням дифференциации и дистанцирования прошлого по отношению к настоящему» [Там же, 47].

Соответственно и для истории невозможно представить прошлое **точно тем же самым**, каким оно когда-то было. Признание этого обстоятельства очень важно для самого утверждения исторической науки. И все-таки в своей концепции Рикёр утверждает, что история может, как и полагал Ранке, показать события **«такими, как»** они когда-то были на самом деле.

При первом восприятии текстов Рикёра, особенно в переводах, это различие не сразу становится явным, тем более что выражение *le même*, которое Рикёр использует для обозначения того, что мы понимаем как «такой же как», может на русский переводиться и как «тот же самый», и как «точно такой же», и даже из контекста нюансы значений понять отнюдь не легко. Важно подчеркнуть, что в случае с **«такой же, как»** всегда имеется некий объект сличения, то, по отношению к чему реализуется это **«как»**. То есть, за этим выражением всегда стоит два **разных** объекта. В то время, как за выражением **«тот же самый»** стоит один объект, один и тот же. Два разных объекта, стоящих за выражением «такой же как» в рассуждениях Рикёра возникают довольно неожиданно для читателя. Там, где мы полагаем, что скорее имеем дело с одним и тем же объектом, Рикёр усматривает два. В некотором роде один из важнейших для Рикёра вопросов заключается в том, как объект, остающийся тем же самым, становится нетождественным сам себе.

2.1.2. Репрезентативный импульс памяти

Следующие два аспекта отношений между историей и памятью определяются вышеозначенной проблематикой «присутствия того, что отсутствует». Первый из них обуславливает то, что отвечает за «присутствие» и все-таки позволяет связать прошлое с настоящим – репрезентативный импульс памяти. История, по мнению Рикёра, перенимает от памяти этот репрезентативный импульс и ее претензию на верность, что позволяет ей так же, как и памяти, претендовать на достоверную репрезентацию прошлого.

История, как и память, есть способ присутствия прошлого в настоящем, но это присутствие, естественно, не может быть полным повторением. Это присутствие есть лишь репрезентация всей полноты прошлой жизни посредством предметов, образов, текстов. Однако, раз первоначальные события прошлого уже недоступны, возникает сомнение, действительно ли те или иные образы и тексты могут считаться репрезентацией прошлого. Утверждение возможности и неустранимости репрезентативной связи между историей и прошлым есть ответ Рикёра на скептицизм в отношении достоверности исторического познания, проистекающий из проблемы референциальности исторического дискурса. Эта возможность применительно к истории, проистекает из свойств памяти.

Одной из причин проблематизации понятия исторической истины было переосмысление методологии и теории истории под действием «лингвистического поворота». Суть проблемы можно свести к отрицанию существования референциальной связи между внеположенной субъекту реальностью и нашими теориями, описывающими положение дел в этой реальности. При таком подходе научные теории оказываются символическими системами, объединяющими лишь весьма произвольные представления отдельно взятых людей о «реальном» мире. Идею о том, что история неотличима от вымысла, теоретически обосновал Ролан Барт в ряде своих статей. Положение о том, что история – это лишь вид литературного творчества, Барт развил в статье «Дискурс истории» [Барт, 2003].

Барт опирается на концепцию знака как единства означающего,

означаемого и референта. Дискурс Барт определяет как сверхфразовый словесный комплекс, который сам может быть рассмотрен как знак. Поскольку исторический дискурс претендует на то, чтобы сообщать достоверные факты, значит, референтом этого знака должны быть события, имевшие место в прошлом. Однако, анализируя исторический дискурс нескольких признанных историков, Барт находит, что сообщаемые факты являются скорее означающим, а их означаемым становятся те смыслы, которые историк приписывает этим фактам волевым порядком. Референт же исторического дискурса более не существует, по утверждению Барта, он достижим только в самом этом дискурсе.

Такой вывод был сделан, поскольку Барт пользовался средствами семиотики, а эту область знаний интересует только одна сторона семиотического треугольника – взаимоотношения между знаком и его значением, в соссюровских терминах – между означающим и означаемым (как тем смыслом, что рождается в нашем представлении). Для анализа взаимоотношений между означаемым и референтом у семиотики просто нет средств.

На уровне анализа повествования факт – это то, что сообщает историк, то, что упомянуто в тексте. Но средствами языка (утверждениями типа «так было») нечто, изложенное в тексте, историки представляют как «копию» того, что действительно существовало в «реальности». Операцию, посредством которой осуществляется такая подмена, Барт логически разделяет на две фазы. В первой фазе факты, упомянутые в дискурсе, отделяются от него и подаются под видом референта, как нечто, обосновывающее исторический дискурс извне (хотя все было как раз наоборот). Во второй фазе из структуры дискурса вытесняется означаемое и сливается с референтом, который уже воспринимается как нечто реально существовавшее. Таким образом, сконструированное автором означаемое наделяется свойством «быть точной копией реальности». Как резюмирует Барт: «в “объективной” истории “реальность” всегда представляет собой лишь неформулируемое означаемое, скрывающееся за кажущимся всемогуществом референта» [Там же, 439].

То есть, если перевести на язык семиотики ту негласную установку, которой историк обосновывал достоверность своего текста, то получится, что означающее как бы вступает в отношения непосредственно с референтом. Но так было лишь в представлении историков и их читателей. С точки зрения семиотики на месте референта представало лишь замаскированное означаемое. Такая двучленная схема (референт и означающее), обращает внимание Барт, говорит о том, что история является самореференциальным дискурсом, и только маскируется под описательный дискурс при помощи магической фразы «так было».

Столь убедительный аргумент в пользу того, что история неотличима от вымысла, значительно повлиял на теоретиков истории и философов (но не на историков). Некоторое время на этом поле преобладали две тенденции: попытки распространить идеи Барта «вглубь» исторической науки (Х. Уайт, Ф. Анкерсмит), и отрицание или молчаливое игнорирование нападков «постмодернистов».

Критику Барта трудно опровергнуть, но в этом и нет нужды, поскольку на самом деле она принесла истории большую пользу. Барт заставил обратить внимание на то, что история – это вовсе не только текст, но целый комплекс исследовательских процедур, критики источников, осмысления проблем. Именно отвлечение от этого контекста, уплощение понятия истории, низведение ее до простого рассказа о событиях ведет историю по тому пути, который проанализировал Барт.

Рикёр в свою очередь направил все усилия, чтобы отвратить историю от этого пути. Он предлагает свое решение проблемы, акцентируя внимание на том, что история «становится репрезентацией прошлого, – коей не может быть вымысел, по крайней мере, по заложенной в нем интенции» [Рикёр, 2004. с. 265]. Да, в дискурсе используются просто слова, но некоторые из них имеют референциальную связь с объектами, имеющими непосредственное отношение к прошлому, то есть источниками или иными свидетельствами. С их помощью

мы можем реконструировать некоторые явления, имевшие место в прошлом.

Возможность претендовать на репрезентативность по отношению к прошлому история получает в силу своего родства с памятью. Базовое значение, в котором Рикёр использует понятие репрезентации, это «присутствие того, что отсутствует». Это, безусловно, слишком широкое определение, но это та суть, что объединяет все эти разнородные явления. Мы выделили три основных значения понятия репрезентации, которые Рикёр использует в своих трудах:

1) репрезентация как способность памяти хранить образ отсутствующей вещи, осуществляя тем самым воспоминание как ре-презентацию ранее воспринятого;

2) репрезентация как зримое проявление невидимых, недоступных непосредственному восприятию, но чрезвычайно важных для историка явлений: социальных связей, институтов, индивидуальных и коллективных идентичностей (в этом смысле, репрезентацию можно сопоставить с понятием улики К. Гинзбурга);

3) репрезентация как текст, который представляет обществу и результаты исторического исследования, и события прошлого.

Здесь снова предстает особенность метода Рикёра, который предполагает определение понятия с учетом разнообразных его словоупотреблений, не только путем простой их конъюнкции, но, скорее, во взаимопересечении и взаимной поддержке различных его смыслов. Единство трех указанных значений понятия «репрезентация» служит одной из опор доказательства способности истории быть репрезентацией прошлого. Понятие репрезентации уже само по себе выражает глубинную связь истории с памятью, поскольку в терминах репрезентации формулируется направленность памяти на прошлое, и таким же образом определяется отношение истории к прошлому: «В нашем дискурсе за мнемонической репрезентацией следует репрезентация историческая» [Рикёр, 2004. с. 331].

В данном случае, нам необходимо обратиться к репрезентации в первом и исходном для истории значении. Рикёр отталкивается от способности памяти

хранить образ отсутствующей вещи, осуществляя тем самым воспоминание как ре-презентацию ранее воспринятого (см. 1.3). Это свойство сопоставляется со способностью документа или вещи хранить след прошедшего события. Также, подобно воспоминанию, свидетельство попадает под подозрение в ненадежности, недостоверности. Но история имеет дело с социальной реальностью, в которой действуют люди, и чтобы о ней свидетельствовать «у нас нет ничего лучшего, чем память». Регистрация фактов в исторических источниках и регистрация фактов историками по этим источникам были бы невозможны без памяти.

Подобным же образом, хотя исторические свидетельства, как и индивидуальные воспоминания человека, не являются точным и однозначным отражением событий, тем не менее, «у нас нет ничего лучшего, чем свидетельство и критика свидетельства, чтобы подтвердить историческую репрезентацию прошлого» [Там же, с. 393]. Уж если мы допускаем, что память обладает способностью репрезентировать прошлое (а нам приходится это допустить, если мы не хотим отказаться от возможности использовать свой жизненный опыт), то нам следует допустить ту же способность и за историей. Но для обоснованности данного утверждения недостаточно одной аналогии. Почему, на каком основании то, что представляется справедливым для индивидуальной памяти, может считаться допустимым и для истории?

Обоснование означенного утверждения в целом важно как для выведения истории из памяти, так и для понимания функционирования истории в социуме. Мы выделили следующие основания или ступени перехода от индивидуальной памяти к истории.

а) Методологическое обоснование: воспоминания являются основой очень многих исторических свидетельств. По выражению Ле Гоффа, память является «сырьем истории», «живорыбным садком, куда забрасывают сети историки» [Le Goff, 1988. p. 10]. следовательно, опираясь на эти свидетельства, история уже получает «репрезентативный импульс» от индивидуальной памяти: «при всей принципиально недостаточной его надежности, в конечном счете у нас нет

иного доказательства, что нечто произошло, чему, как уверяет кто-то, он был лично свидетелем, и что главным, а подчас и единственным средством, к которому мы можем прибегнуть, за вычетом других типов документации, остается сопоставление свидетельств» [Там же, с. 204]. Все-таки история начинается не с архивов, а со свидетельств.

б) Аналитическое обоснование: Рикёр опирается на концепцию Стросона о целостности психического поля, и выдвигает утверждение о возможности атрибутирования воспоминаний (как психических предикатов) коллективному субъекту. Это утверждение опирается на три допущения, сделанных Стросоном:

1) Атрибуция психических предикатов тому или иному субъекту может быть выполнена или отложена, например, с целью лучшего исследования этого предиката (как, например, было предпринято исследование воспоминания, независимо от субъекта). Возможность отложить атрибуцию есть условие того, что психические предикаты могут быть понятны сами по себе. Именно в силу этой возможности атрибутируемые предикаты сохраняют один и тот же смысл, независимо от того, кому они приписаны.

2) Второе допущение Стросона состоит в том, что если предикат может быть атрибутирован самому себе, то он может быть атрибутирован и другому. Более того, для Стросона, именно возможность атрибуции другому есть условие атрибуции самому себе.

3) Возможность разнообразного атрибутирования позволяет сохранить асимметрию между приписыванием себе самому и приписыванием другому¹⁶. Приписывание себе есть непосредственное выполнение атрибуции, в то время как приписывание другому «основано на понимании и толковании словесных и несловесных выражений в плане поведения другого» [Там же, с. 178]. Мы не можем быть уверены в достоверности атрибутируемого при атрибуции другому. Мы можем удостовериться в этом лишь по косвенным признакам, тем

¹⁶ В оригинале «*cette attribution multiple préserve la dissymétrie entre ascription à soi-même et ascription à l'autre*» [Ricoeur, 2000. С. 154]. В переводе под ред. И.С. Вдовиной «множественное атрибутирование предохраняет от асимметрии между приписыванием себе самому и приписыванием другому», однако последующий контекст ставит под сомнение такой перевод.

способом, который Гинзбург называл «методом улик».

Такое грамматическое отнесение памяти к «вам», «нам», «им» не решает проблему, тем не менее «пространство атрибуции, предварительно открытое для всей совокупности грамматических лиц (и даже не-лицам: кто-то, каждый), устанавливает подходящие рамки для сопоставления утверждений [*о коллективной или личной атрибуции*], ставших соизмеримыми» [Ricoeur, 2000. р. 113]. До этого тезисы о индивидуальном или коллективном атрибутировании памяти воспринимались как абсолютно противоположные, что затрудняло их рассмотрение.

в) Рикёр разбирает возможность атрибуции памяти коллективному субъекту, опираясь на идеи Мориса Хальбвакса. По мнению Хальбвакса, скорее коллективная память предшествует индивидуальной, чем наоборот: «мы можем вспоминать, лишь находя для интересующих нас событий прошлого место в рамках коллективной памяти» [Хальбвакс, 2007. с. 325]. Однако, по мнению Рикёра, вопрос о том, как именно происходит сцепление коллективной и индивидуальной памяти, Хальбвакс рассматривает слишком догматично: в его трактовке индивидуальный опыт становится едва ли не иллюзией, проекцией коллективной памяти. Тем не менее, для Рикёра важно в первую очередь то, что Хальбвакс разоблачил иллюзорность идеи о том, что только единичный индивид является владельцем своих воспоминаний, и связал между собой индивидуальную и коллективную память. Исходя из всего этого социальная граница памяти перестает быть объективным понятием, но становится аспектом, внутренне присущим работе воспоминания.

Таким образом, Рикёр поддерживает концепцию коллективной атрибуции памяти, причем выделяет здесь три уровня субъектов. Помимо индивидуальных и коллективных субъектов, Рикёр предполагает наличие «промежуточного плана референции, где конкретно осуществляется взаимодействие между живой памятью индивидуальных личностей и публичной памятью сообществ» [Рикёр, 2004. с. 184]. Этот промежуточный план – близкие, которых Рикёр определяет как «привилегированные другие» [Там же, 185]. Это люди, которые радуются

нашему рождению или оплачат нашу смерть, люди, до которых нам есть дело, и которым есть дело до нас.

Почему этот план референции Рикёр полагает важным? Мы полагаем, что дело в том, что перед лицом именно этого круга людей, а не всего общества в целом, проверяется наша способность к тому, что Рикёр называет удостоверением. В данном случае удостоверение (attestation) – это одно из проявлений «человека могущего», так сказать, способность к достоверности [см. Рикёр, 2008. с. 38]. Для Рикёра одобрение или порицание близких, стыд, страх быть уличенным или навлечь несчастье на других – одна из гарантий достоверности наших свидетельств.

Кроме того, этот ближний круг есть начало человеческой общности, духовной близости. Наличие такой общности является важным обстоятельством для возможности перехода от индивидуальной памяти к истории. Как отмечали в своей монографии Я.С. Чернова и Н.В. Медведев, характеризуя подход Рикёра: «Главным условием возможности понимания, исторического познания служит сходство и различие индивидов как исторических существ, их принадлежность к общечеловеческой сфере духовного существования. Внутренний опыт индивида и его познание поднимаются до уровня исторического опыта, благодаря общности, существующей между людьми» [Чернова, Медведев, 2014. с. 16].

Отечественный специалист в области методологии истории Л.П. Репина так характеризует соотношение социального и индивидуального в сфере памяти: «Даже индивидуальные воспоминания представляют собой смесь персонального и социального. Сама по себе память субъективна, но одновременно она структурирована языком, образованием, коллективно разделяемыми идеями и опытом, что делает индивидуальную память также социальной. Воспоминания социальны и в том, что они касаются социальных взаимоотношений и ситуаций, пережитых индивидом совместно с другими людьми. Эти воспоминания, в состав которых входят одновременно и персональная идентичность, и ткань окружающего общества, являются, по

существованию, средством воспроизводства социальных связей» [Репина, 2006. с. 35]. Так в современных концепциях память предстает важным элементом конструирования социального и, интегрируя коллективный опыт сообществ разных уровней, обращается в историю.

Таким образом, феноменология существования групп индивидов уже сама по себе становится основанием для переноса на историю свойства памяти репрезентировать прошлое, поскольку групповая идентичность складывается на пересечении индивидуальной и коллективной памяти. Рикёр полагает, что можно выделить «некоторые правила обмена между атрибуцией мнемонических феноменов к себе и их атрибуцией к другим, чужим или близким» [Ricoeur, 2000. p. 115], но сами эти правила также изменяются во времени и, следовательно, выступают объектом истории, а именно истории памяти.

Если мы можем говорить о коллективном субъекте памяти, то не будет ли эта память собственно историей? На этот вопрос Рикёр отвечает скорее отрицательно: «история может претендовать на то, чтобы стать опорой памяти, корректировать, критиковать, даже поглощать ее, только под видом памяти коллективной. Последняя представляет собой соответствующее *vis-à-vis* истории» [Ricoeur, 2000. p. 146]. Мы полагаем, что в данном случае под выражением «*vis-à-vis*» следует понимать *иное*, в том смысле, который мы поясняли в 2.1.1. То есть, несмотря на сходство, между ними всегда будет сохраняться дистанция. В системе координат, предложенной в первой главе, мы могли бы поместить историю в том секторе, где пересекаются рефлексивность и «принадлежность миру», на значительном удалении от начала координат.

Таким образом, мы полагаем, что важная услуга, которую оказывает память истории, состоит в том, что первая передает второй связь с реальностью через способность субъекта свидетельствовать. Способ, которым обеспечивается включение индивидуальной памяти в работу коллективной, есть и условие существования, и предмет изучения истории (а также социологии). Так или иначе, «феноменология свидетельства подвела анализ удостоверения к

порогу, за которым начинается история» [Ricoeur, 2000. p. 510].

2.1.3. Неустранимость репрезентативной проблематики и временной дистанции

Второй аспект репрезентативной проблематики, наследуемой историей от памяти есть то, что обуславливает собственно «отсутствие» – дистанция, пропасть между когда-то имевшим место и оставшимся нам образом-воспоминанием.

Проблема памяти связана с модусом аттестации, удостоверения, то есть, способностью человека сказать «я видел», «я слышал». Эта способность неопровержима с точки зрения его когнитивных предпосылок (нечто было воспринято), но всегда находится под подозрением, поскольку в конечном счете всегда требует веры. Таким образом, проблематика репрезентативности проистекает из свойства памяти, укорененного в онтологии, в данном случае, в природе человеческого познания.

Наряду с памятью, другой онтологической предпосылкой, определяющей проблематику репрезентации, является время. Память хранит временную глубину, она является «хранительницей высшей конститутивной диалектики прошлости прошлого, то есть отношения между "больше не" ... и "было" [Рикёр, 2004. с. 690]. Если бы не память, эта диалектика не могла бы быть обнаружена, но она неустранима, как глубинное онтологическое свойство.

Неустранимость репрезентативной проблематики связана с неустранимостью разрыва между настоящим и прошлым, через который Рикёр перебрасывал шаткие мостки с помощью концепции узнавания Кейси (см. 1.3.). История тоже пытается найти способы преодоления этой проблемы, полученной ею в наследство от памяти. Только память основана на интуитивном восприятии, а история на научном сопоставлении и системе доказательств.

Почему именно в сохранении этой репрезентативной проблематики Рикёр

видит самую суть матричных отношений между памятью и историей? По нашему мнению, это связано с тем, что в рамках репрезентативной проблематики история получает в наследство и понятие дистанции, и требование усилия для ее преодоления. Эти два явления конститутивны для истории, так как оказывается, что именно они стоят на страже достоверности истории и позволяют отбить нападки, вытекающие из критики Р. Барта (см. 2.1.2). Такой поворот мысли становится возможным, если только воспринимать память как матрицу истории в вышеуказанном смысле.

Каким же образом осуществляется этот удивительный поворот, что дистанция из врага истории, перечеркивающего саму возможность исторического познания, превращается в необходимое условие истории? Здесь проявляется замечательное свойство философии Рикёра: он всегда отталкивается от данности, а затем ищет, как возможно существовать в данных условиях. А данность такова, что дистанция неустранима. Однако память преодолевает эту пропасть посредством модусов напоминания, вспоминания, узнавания, предложенных Кейси. Может ли тем же путем пойти история? Проследим его для истории с самого начала.

Первым модусом является напоминание, которое применительно к истории находит свою аналогию в свидетельстве любого рода. Это документы, монеты, руины, устные рассказы и все многообразие свидетельств, которое так расширилось в течение XX века. Их роль как знаков, призванных защищать от забвения, не вызывает сомнений. Неожиданно найденный новый документ или иное свидетельство заставляет историков тянуть за эту ниточку, чтобы выудить из тьмы забвения то, о чем он напоминает.

Второй модус – усилие вспоминания, которое находит аналогию в работе историка. Так же, как вспыхнувшее в сознании напоминание может заставить нас обратиться к другим вещам или воспоминаниям, так же и историк обращается к разнообразным свидетельствам, чтобы восстановить картину прошлого, проявить некий его образ. Как именно историк это делает – на это отвечает методология исторической науки с ее все более и более

расширяющимся инструментарием. Но вот как историк может понять, в нужном ли направлении он движется?

Для памяти таким руководящим принципом является узнавание. Мы ищем нужный нам образ, этот поиск сопровождается смутным ощущением, что мы приближаемся (или удаляемся) от предмета нашего поиска. Приближение сопровождается нарастающей радостью узнавания, пока нужный образ не вспыхнет в сознании, и мы не воскликнем «вот оно!» Таков модус узнавания, венчающий усилия по разысканию воспоминаний.

Есть ли что-то подобное в истории? Нет, и не может быть. Поскольку феномен узнавания строится на том, что был некий первоначально воспринимаемый образ, первичное впечатление, по отношению к которому найденный образ узнается как «такой же». Но в случае с историей не было никакого первичного впечатления. Во многих случаях те или иные объекты, которые сегодня могут стать предметом исследований историка, в прошлом вообще не воспринимались как объекты, которые могут быть вписаны в какой-либо образ (различные институты, сексуальность, детство и т.п.). Но это не значит, что историку совсем не с чем сравнить полученный им образ прошлого. Во-первых, конечно, он должен сравнивать его с документами, но это не есть аналог узнавания. Во-вторых, с другими образами, полученными историками или другими исследователями. В-третьих, историк может и должен сравнивать этот образ с ним же самим, но постоянно обогащаемым новыми размышлениями, сомнениями и, по возможности, фактами.

Важно то, что сохранение этой проблематики в самом основании истории делает историю вечно востребованной в человеческом обществе. В принципе, это одно из тех обстоятельств, что делает историю возможной, определяет ее свойства и методы. Со строгой последовательностью аналитического философа этот же тезис доказывал Артур Данто: «Наша принимаемая на веру неспособность наблюдать, прошлое не есть порок самой истории, а представляет собой как раз то, что должна преодолеть история. ... И как раз потому, что у нас нет прямого доступа к прошлому, существует история»

[Данто. 2002, с. 109].

Здесь начинает проясняться значение для истории дистанции и усилия по ее преодолению, первоначально, аналогичное их значению для памяти. Как и для памяти, для истории дистанция выступает залогом претензии на достоверность. Когда в первой главе речь шла об отличии вымысла от действительного образа прошлого, были предложены несколько критериев. Мы полагаем, что они также могут быть перенесены и на поле истории. Хотя Рикёр не пишет об этом прямо, но можно с уверенностью предположить, что это одно из следствий матричных отношений между памятью и историей. Первый из них – это как раз сохранение дистанции, поскольку противоположное состояние образа – квазиприсутствие – есть один из маркеров галлюцинации. Наличие или отсутствие дистанции возможно отследить по наличию (или, напротив, отсутствию) затруднения и интеллектуального усилия, необходимого для проявления образа. Когда образ становится ясным и очевидным, когда для него не остается возможности быть иным, значит он более не представляет собой репрезентацию прошлого, но оказывается плодом исключительно нашей мысли.

Второй критерий для различения репрезентативного образа от вымышленного, так же предложенный в первой главе – это произвольность, навязчивость воображаемого объекта, который оказывается как бы само собой разумеющимся. Как уже было отмечено, в психиатрии галлюцинации как правило однообразны, это довольно ограниченный набор образов. Эта же навязчивость может проявляться в истории: когда все образы вдруг начинают говорить об одном и том же – это повод заподозрить неладное. Например, в советской историографии одной из таких навязчивых идей была классовая борьба, которая должна была обязательно найтись в любом стихийном бунте. В современном обществе примером может служить образ разнузданного триумфа, возникающий при всяком упоминании о Великой отечественной войне, подменяющий собой реалистичные представления об этом трагическом событии. Такая самоочевидность также есть результат игнорирования дистанции между реально бывшим и его репрезентацией в настоящем.

Эти критерии чрезвычайно показательны для исторической науки. Понятие дистанции отражает ту отстраненность, что необходима историку для адекватного описания событий. Именно она и отличает его от очевидца. Очевидцу события доступны лишь с одной точки зрения, историк же имеет возможность сопоставить разные точки зрения, получая многомерный образ события. Незавершенность этого образа есть отражение множественности участников социального действия, множественности их отношений к этому действию и его восприятий. Естественно, что утверждение только одной возможной трактовки событий отсекает все прочие, а, следовательно, делает это описание заведомо недостоверным.

Таким образом, дистанция есть залог неокончателности, которая есть условие вечного поиска истории. Как утверждает Рикёр: «То, что построения историка могут быть реконструкцией действительно произошедших событий, способна удостоверить только работа по пересмотру и переописанию, проводимая историком в его кабинете» [Рикёр, 2004. с. 691].

Представляется, что после семидесяти лет развития постпозитивизма и неорационализма такие утверждения не кажутся чем-то противоречащим логике или рациональности. Очевидно, что такой подход очень близок к идеям фаллибилизма Пирса и фальсифицируемости Поппера, идеям о принципиальной погрешимости, подверженности ошибкам человеческого знания. Приближение к истине возможно через непрерывное исправление ошибок. Но если Пирс полагал, что некие неопровержимые истины все-таки доступны методом проб и ошибок, то Поппер утверждал, что знание носит принципиально гипотетический характер и сделал опровержение основой своей научной методологии. Истинным может быть только то, что можно опровергнуть. К научным теориям относятся только те, для которых можно выделить противоречащие им положения, истинность которых может быть установлена посредством общепринятых процедур (по Попперу, в основном, экспериментального порядка).

В вопросе о достоверности история идет в ногу со всеми другими науками

и теорией познания в целом (может быть, иногда слегка отставая). Можно сослаться на множество трудов, однако, чтобы не переусложнять текст, воспользуемся образом Умберто Эко, последователя Ч.С. Пирса, чей роман «Имя розы», собственно, является грандиозной метафорой этой парадигмы познания: «Исходный порядок – как сеть или лестница, которую используют, чтобы куда-нибудь подняться. Однако после этого лестницу необходимо отбрасывать, потому что обнаружится, что хотя она и пригодилась, в ней самой не было никакого смысла. ... Единственно полезные истины – это орудия, которые потом отбрасывают» [Эко. 2006, с. 613].

Однако аргументы в пользу подхода Рикёра, можно найти не только в рассуждениях о научном познании вообще, но также и в изменениях, происходящих в самой исторической науке. Замечательным образом Рикёр подкрепляет свою концепцию о постоянном переосмысливании истории идеями из «Аналитической философии истории» уже цитировавшегося Артура Данто. Рикёр филигранно вплетает его идеи в свою концепцию нарратива, что еще раз демонстрирует мощные синтезирующие способности философии Рикёра, сумевшего сблизить феноменологию и экзистенциализм с аналитической традицией. Впрочем, немаловажно и умение самого Данто занять умеренную позицию, стремясь примирить релятивизм, с логикой и здравым смыслом вообще.

Данто отталкивается от критики модернистской идеи о том, что прошлое неизменно и навечно определено, на которой основывалось представление о том, что возможно полное и окончательное описание событий прошлого. Эта идея основана на скрытом допущении о том, что все события прошлого как бы собраны в некоем вместилище, где они пребывают отныне в неизменном виде, без изменения порядка их появления, и уже невозможно добавить что-либо к их содержанию, хотя мы можем изменять представления об их последствиях. Данто остроумно опровергает это допущение с помощью образа Идеального Хрониста (см. Данто. 2002, гл VIII), который хоть и наделен способностью мгновенно записывать все события, но все равно не смог бы дать хоть сколько-

нибудь удовлетворительного их описания, которое не потребовало бы последующих изменений и переописаний, как и предполагал Рикёр.

Речь не идет в данном случае о введении новых документов, которые очевидным образом обогащают наши знания о прошлом. Данто предполагает у своего Идеального Хрониста идеальную осведомленность о текущем положении дел, однако это не может ему помочь в написании «идеальной истории»¹⁷. Как доказывает Данто, главная цель историка состоит не просто в описании событий прошлого, но «в том, чтобы постигать действия не так, как могли бы это сделать свидетели, а так, как это делают историки, – постигать их в связи с последующими событиями и в качестве временных частей целого» [Данто. 2002, с. 177]. То есть, одним из важнейших для историка вопросов, является вопрос об оценке значимости того или иного события.

Но историки, как и все люди, подвержены «временному провинциализму», по выражению Данто. Это значит, что о значимости тех или иных событий можно судить только с позиций своего времени. В то время как будущее может принести новые события, которые раскроют в новом свете события прошлого. Как писал Данто: «Возможно, прошлое и не изменяется, но изменяется наш способ его организации» [Там же, 162]. Так крах Советского Союза заставил не только историков, но и все общество переосмыслить (и продолжать переосмысливать) значение событий 24-25 октября (6-7 ноября) 1917, которые на данный момент даже не имеют какого-то закрепившегося в историографии общепринятого названия. Так же и война, развязанная Гитлером в 1939 году, привела к совершенно иной оценке политики европейских держав в отношении Германии в 1920-30-е годы. Само накопление исторического опыта противостоит законченности любых исторических описаний.

В разговоре о переосмыслении событий прошлого снова важно вспомнить о памяти, как свидетельстве превосходства «было» надо «больше нет» прошлого, порукой которому выступает дистанция. Если начинает утверждаться

17 Под «идеальной историей» Данто в данном случае подразумевает собственное понимание модернистского идеала истории как «совокупность всех истинных описаний явлений прошлого».

некое единственно возможное «было», не допускающее иных трактовок – это верный признак того, что торжествует «больше нет». Раз чего-то больше нет, то можно утверждать все, что угодно об этом, создавать любой образ прошлого, который, увы, будет только галлюцинацией, иллюзией присутствия. Это и есть тот прием, о котором писал Барт: исторический дискурс претендует на то, чтобы слиться с референтом, выдавая себя за подлинное прошлое. Соответственно, восстановление дистанции между текстом и прошлым – первый шаг к восстановлению достоверности, которая состоит в том, что все могло быть совсем не так.

За последние 100 лет российское общество многократно становилось свидетелем подобных попыток установить единственно возможный образ прошлого и это всегда были попытки манипуляций. Инициатором этой политики было государство, начиная от скрытного удаления изображений Троцкого с фотографий Ленина, до современных попыток контролировать прошлое, принимая охранительные законы и продолжая держать закрытыми архивы. Эта политика вызывает сегодня поддержку определенной части общества¹⁸.

Следовательно, дистанция, которая не позволяет узурпировать образ прошлого, тем не менее, не предполагает полной оторванности от проявлений реальности. Для истории, имеющей дело в первую очередь с социальной реальностью, то есть, с человеческими отношениями, возможность существования фактов обеспечивается феноменом узнавания воспоминаний, выражающим человеческую способность к удостоверению. История – это не память, но для нее очень важно научиться у памяти сочетать «бывшесть»

18 Несколько одиозных примеров. 1) Жалоба в прокуратуру на докторскую диссертацию историка Кирилла Александрова об офицерах Русской освободительной армии А. Власова, которая воевала на стороне Германии в Великой Отечественной войне. Жалобу направил руководитель движения «Народный собор», помощник депутата Милонова А. Артюх. «Я попросил применить меры прокурорского реагирования. ... Я хочу просто-напросто, чтобы диссертаций таких не было. Я хочу, чтобы этот человек сменил тему», – сказал Артюх (см. <https://meduza.io/news/2016/03/02/v-peterburgskuyu-prokuraturu-pozhalovalis-na-dissertatsiyu-pro-komandirov-armii-vlasova>) 2) 28.04.2016 в Москве активисты «Национально-освободительного движения» напали на участников школьного исторического конкурса, мотивируя свои действия тем, что: «в истории должно быть только героическое, ее не надо разбирать!» (<https://meduza.io/feature/2016/04/28/pochuvstvovat-epohu-na-sebe>).

прошлого с его «прошлостью», то, что кажется очевидным применительно к индивидуальной памяти, но так легко теряется при переходе на уровень истории.

Таким образом, то, что раньше служило аргументом против возможности познания прошлого, Рикёр обратил в то, что единственно только и обеспечивает возможность исторического познания: наличие дистанции делает прошлое доступным для переосмысления, не позволяет узурпировать его, оставляя открытым для новых и новых исторических изысканий.

2.1.4. Нарративная структура события в памяти и в истории

В качестве матрицы истории память также передает своей «научной наследнице» нарративную структуру, которая есть форма существования временного опыта. Рикёр уверен, что нарративность неизбежно присуща человеческому сознанию как попытка мыслить время, артикулировать отдельные его отрезки и устанавливать непрерывные события. Из доступных нашему сознанию феноменов временного опыта конфигурируется рассказанное время, которое и осуществляется в форме нарратива.

В концепции Рикёра можно выделить следующие конфигуративные свойства нарратива в отношении времени:

- посредством нарратива сознание ухватывает способность вещей следовать друг за другом;
- в нарративе находит отражение способность мира необратимо изменяться, оставаясь самим собой;
- иерархия нарративов позволяет вписать конечное человеческое время в циклическое время мира.

Эту же нарративную структуру от памяти наследует история, для которой нарратив также становится главным инструментом репрезентации прошлого.

Мы выстраиваем доступные нам воспоминания, соотнося более ранние моменты с более поздними, устанавливая между ними логические или

воображаемые связи, и таким образом получаем связанное представление о событиях своей жизни. История производит те же операции, опираясь не на воспоминания, а на свидетельства, подтверждая свой статус «научной наследницы памяти» [Рикёр, 2004. с. 331].

Рикёр, следом за Луисом Минком, полагает, что «сама по себе форма рассказа должна быть "познавательным инструментом"» [Там же, с. 338]. Способность нарратива выполнять перечисленные функции обусловлена рядом его важных свойств.

Во-первых это особая структура «начало-середина-конец», которая есть также структура события. Событие для Рикёра есть привилегированный объект памяти, но кроме этого оно также есть и объект истории (хотя его статус в истории есть предмет споров). Такой изоморфизм представляет собой одну из причин, по которой нарратив становится столь удобной формой репрезентации прошлого: «нарративное действие пере-обозначает мир в его временном измерении в той мере, в какой рассказывать, повествовать – значит заново совершать действие» [Рикёр, 2000. с. 99]. Кроме того, повествовательная структура «начало-середина-конец» изоморфна течению человеческой жизни, которая объективно имеет начало и конец (в отличие от события, которое человеческое сознание выделяет произвольно из последовательности явлений окружающей жизни).

Во-вторых, нарратив обладает важной способностью интегрировать разрозненные факты в сюжет. Подобно тому, как рассказанное время, выводимое Рикёром из августиновского растяжения души, есть «несогласное согласие», так в нарративе на первый план выходит именно «функция «сведения воедино», которая присуща рассказу, выступающему как целое по отношению к излагаемым событиям» [Рикёр, 2004. с. 338]. Что рассказ дает истории именно как познавательный инструмент: «Напрашивается гипотеза: если мы придаем всю полноту понятию интриги как синтеза разнородного, перемешивающего намерения, причины и случайности, то не дано ли рассказу осуществлять нечто вроде нарративной интеграции между тремя моментами –

структурой, конъюнктурой, событием, – которые эпистемология разъединяет?» [Рикёр, 2004. с. 344].

Это свойство связано с присоединением к повествовательной форме логической связности. Здесь опять можно отметить изоморфизм, но уже между структурой нарратива «начало-середина-конец» и логической формой «причина-событие-следствие».

Тут проявляется третье свойство нарратива, унаследованное от особенностей человеческой памяти – его избирательность. Мы не включаем в повествование абсолютно все события, но только те, которые укладываются в определенную логику: «любое повествование — это структура, налагаемая на события, которая одни события соединяет вместе, а другие исключает как не имеющие значения» [Данто, 2002. с. 136]. Если бы у нас не было механизма отделения значимого от незначимого, вряд ли было бы возможным осмысление мира¹⁹.

Логическая связность и критерий значимости, в свою очередь, обусловлены наличием общего смысла нарратива в качестве целого, относительно которого и выстраивается логика повествования. Структурно смысл нарратива соответствует значению события в памяти или в истории. В нарративной схеме организации информации событие понимается, когда объясняются его роль и значение в связи с некоторыми целью, проектом или целым (человеческая жизнь, история). Значение и есть то, что делает событие чем-то большим относительно составных его элементов, что выделяет его из череды феноменов: «Значение события определяет устойчивое сохранение его результатов вдали от истоков. Оно коррелятивно значению самого рассказа, смысловое единство которого сохраняется в течение длительного времени» [Рикёр, 2004. с. 343]. Возможность и способность присваивать значение

19 Любопытно, что процесс отбора феноменов опыта посредством нарратива аналогичен работе молекулярных механизмов долговременной памяти. Регулирование процессов запоминания происходит с помощью двух белков, один из которых активирует усиление синаптических связей, а другой их подавляет. Для того, чтобы опыт был записан в память живого организма, сигнал о полученном опыте должен вызвать такую реакцию, которой будет достаточно не только для усиления синаптических связей, обеспечивающих запоминание, но и для отключения гена, подавляющего такие связи (см. Кандель Э. В поисках памяти, 2007, глава 19).

явлениям также укоренена в самой жизни. Неумолимость и объективная бессодержательность двух пределов жизни – рождения и смерти – наводит ужас на человека, и он также прибегает к нарративам, позволяющим осмыслить, наделить хоть каким-то смыслом эти два предела, и как следствие, то, что между ними, его собственная жизнь, тоже обретает смысл. То есть, четвертое необходимое свойство нарратива, в приложении и к памяти, и к истории состоит в его способности придать смысл человеческим действиям, отличить их от просто физических явлений.

В-пятых, исторический нарратив как форма письменной репрезентации прошлого наследует еще кое-что от репрезентации-образа, свойственного памяти. Это потенциальная зримость, наглядность (в случае звука придется сказать слышимость). Как писал о памяти нейрофизиолог Э. Кандель: «Мы вспоминаем события прошлого в подробностях примерно так, как сновидения, как будто мы смотрим фильм, в котором сами играем главную роль» [Кандель, 2012. с. 405]. Так же и письменное воплощение истории, текст так или иначе, в той или иной форме стремиться к тому, чтобы мы могли представить себе прошлое в подробностях. Нарративу как литературной форме присуще использование различных фигур речи, литературных приемов, которые преследуют цель наглядно представить описываемые события: «к поиску читабельности, свойственной нарративу, добавляется забота о «зримости». Связность повествования обеспечивает читабельность; мизансцена припоминаемого прошлого позволяет видеть» [Рикёр, 2004. с. 333].

Выразительность, зримость нарратива – это не просто украшение текста, некая удобная опция. Фигуры речи в концепции Рикёра выполняют другую, очень важную для текста задачу, о которой писал еще Аристотель: «Эту способность фигуры речи "поставить перед глазами" следует связывать с более фундаментальной способностью, которая определяет саму риторику, а именно, "со способностью умозрительно открыть то, что в каждом случае способно убедить" (Аристотель, Риторика 1356 b 25-26 и 1356 a 19-20)» [Рикёр, 2004. с. 371]. То есть, фигуры речи выполняют задачу убеждения, которая тесно связана

с функцией осмысливания, придания значения, поскольку это значение еще нужно суметь убедительно донести.

Таким образом, указанные свойства делают нарратив самостоятельным познавательным инструментом в отношении прошедшего опыта. Его глубокая укорененность в жизненном мире соединяется с логической формой, позволяющей извлекать из этого мира существенные феномены и детали, осуществлять абстрагирование от бесконечного их многообразия для того, чтобы сделать их доступными для осмысления. Такое смысловое единство есть одновременно сильная сторона нарратива как познавательного инструмента, поскольку благодаря ему мы можем выделить события собственной жизни или истории из хаоса множества физических взаимодействий. Но это же и слабое место и нарратива как инструмента, и нарратологии как области исследований, вызывающее недоверие к ним обоим.

Сама глубокая укорененность истории в памяти выступает против отсутствия референциальности в историческом повествовании. Таким образом, память является неустранимой онтологической предпосылкой истории. Рассказываемое историческое и испытываемое мнемоническое пересекаются в историческом тексте.

2.2. История как соперница памяти

В предыдущем разделе мы видели, насколько много, по мнению Рикёра, история перенимает от памяти. Но, как уже было сказано, Рикёр категорически против отождествления истории и памяти в каком-либо виде, и так же вовсе не выступает за то, чтобы одна из них занимала подчиненное положение относительно другой. Да, история вышла из лона памяти и долгое время рассматривалась как ее продолжение, начиная с «отца истории» Геродота, который взялся за стило, чтобы «великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров» не пропали в безвестности. Но за истекшие с тех пор

столетия история, так сказать, «повзрослела» и обрела независимость от памяти. Рикёр настаивает на том, что «автономность исторического познания по отношению к феномену памяти является важнейшим допущением для обоснования последовательной эпистемологии истории как научной и литературной дисциплины» [Рикёр, 2004. с. 190].

Более того, Рикёр неоднократно подчеркивает, как опасно смешивать функции истории и памяти (что отчетливо осознают сегодня и другие исследователи). Рикёр настаивает на необходимости сохранения баланса между ними и пытается разрешить этот «постоянно возобновляемый спор между соперничающими претензиями истории и памяти на то, чтобы охватить всю область, открываемую позади настоящего в процессе репрезентации прошлого» [Там же с. 547]. Для этого важно выяснить, где, в какой сфере лежит опасность подмены друг другом истории и памяти, где их особенно важно развести и сохранить независимость каждой из них.

Несмотря на тесную взаимосвязь истории и памяти, последняя может выступать и как соперница или даже враг истории. Это связано с многообразием феноменов памяти (см. 1.1), среди которых значительная часть находится не в рефлексивной области, а в области привычки или того, что Рикёр называл произвольным воскрешением в памяти. Это противопоставление зачастую ускользает от внимания субъектов воспоминаний, и произвольно возникающие картины прошедших событий имеют тенденцию восприниматься как единственно возможный образ прошлого.

История также нередко стремится подменить собой память на том основании, что последняя не выдерживает критической проверки. В этом состоит одна из опасностей нарушения равновесия истории и памяти, а именно в умалении значения памяти по отношению к истории. Противоположная тенденция – превозносить память – также может повлечь за собой серьезные проблемы для общества. Третья опасность – это приуменьшение значения истории на основании таких компрометирующих обстоятельств как связь

истории с памятью и с литературой. Это те проблемы, которым Рикёр уделяет наибольшее внимание в своих трудах. Поэтому в данном разделе о них пойдет речь, хотя, вероятно, это не исчерпывающий список проблем, касающихся взаимоотношений истории и памяти.

2.2.1. История как опора ненадежной памяти

Ключевая установка Рикёра о претензии памяти на верность, далеко не у всех исследователей находит поддержку. Подчеркивается недостоверность памяти, ее обусловленность принадлежностью индивида к той или иной социальной группе, подверженность манипуляциям. Поэтому многие исследователи рассматривают память как то, что должно быть уточнено или даже преодолено с помощью критической методологии истории. Степень недоверия к памяти при таком подходе варьируется, определяя радикальность отрицания ее роли для истории.

Одними из первых среди историков в надежности памяти усомнились основатели школы Анналов. Так, Люсьен Февр писал: «Постараемся отделаться от иллюзий. Человек не помнит прошлого — он постоянно воссоздает его... Он исходит из настоящего — и только сквозь его призму познает и истолковывает прошлое» [Февр, 1991. с. 21]. Марк Блок предостерегал от наивного доверия свидетельствам, разделяя их на намеренные, «сознательно предназначенные для осведомления читателей» [Блок, 1986. с. 37] и ненамеренные, следы деятельности, подчиненные только целям этой деятельности. Эти вторые он считает для историка более предпочтительными, хотя и столь же несвободными от фальсификаций и ошибок. Но и те и другие обретают свою ценность только под критическим взглядом историка.

Так что в первой половине XX века история, лишь недавно утвердившаяся в своем статусе научной дисциплины, действовала как бы против памяти. Субъективная индивидуальная, обманчивая природа последней противоречила требованиям объективных наук, изучающих общие закономерности. Хотя

история и вынуждена была опираться на память, последняя оставалась не более чем свидетельством, нуждающимся в проверке, критической оценке и интерпретации историка. Историк был тем, кто решал, должен ли сохраниться тот или иной факт в истории сообщества (как правило, нации). Все остальные факты были частным делом памяти отдельных групп: «История была областью коллективного, память же – индивидуального» [Нора, 2005. С. ???].

Во второй половине XX века критика субъективности памяти вообще и исторических свидетельств в частности привела к отдельным выступлениям против какой-либо надежности следов прошлого. Превознесение воспоминаний жертв Холокоста тоже продемонстрировало кризис свидетельства. В этом отношении показательна история суда над Иваном Демьянюком, когда 18 независимых свидетелей из числа выживших узников концлагеря Трешлинка опознали в нем одного из самых жестоких охранников, которого прозвали «Иван Грозный». Однако в начале 1990-х годов появилась возможность запросить документы из архивов КГБ СССР, где обнаружилось протоколы допросов немецких пленников, из которых следовало, что у Ивана Грозного была фамилия не Демьянюк, а Марченко, что поставило показания очевидцев под сомнение.

Кроме того, исследования в области автобиографической памяти показывают, насколько высока манипулятивность этого вида памяти и его зависимость от текущих обстоятельств. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации «теряют» позитивные воспоминания о прошлом, происходит обеднение прошлого [Нуркова 2003]. С другой стороны, имеет место то, чему психологи дали название «эффект розовых очков», заключающийся в том, что со временем сглаживаются негативные впечатления, и субъекты склонны придавать событиям более позитивный смысл [Нуркова 2015]. Все это, безусловно, говорит о том, что память нуждается во внешнем контроле, если хоть в каком-либо отношении нам важно иметь достоверные представления о прошлом.

Х. Уайт и Ф. Анкерсмит были убеждены, что свидетельства не могут

указывать на прошлое, но лишь на другие интерпретации прошлого. Многие историки сегодня также продолжают линию критики памяти как того, что должно быть преодолено с помощью критического инструментария историка. Так А. Мегилл считает, что «задача историка должна в меньшей степени заключаться в сохранении памяти, чем в ее преодолении или, по крайней мере, в ее ограничении» [Мегилл, 2007. с. 127]. Если же историю будут соотносить с памятью в каком-либо качестве, то это будет разрушительно для исторической науки: «Опасно, когда история исходит или из идеи сохранения персональной памяти, или из идеи своего функционирования как способа поминовения» [Там же, с. 126].

По мнению Мегилла, память не заслуживает того доверия, которое ей оказывает Рикёр: «Память – область мрака, ей нельзя доверять» [Там же, с. 168]. Он исходит из того, что возможно построение объективной истории, но памяти различных социальных групп, отстаивающих каждая свою версию событий, не допускают какого-либо согласия между ними. Следовательно, соотнесение истории с памятью какой-либо из этих социальных групп компрометирует историю как науку.

В случае конфликтов между группами споры не могут быть разрешены на основе обращения к памяти о том, с чего все началось и кто виноват: одна группа «помнит» одним образом, другая – другим. В действительности, апелляции к прошлому положению дел являются нерелевантными любым актуальным реальным проблемам: «"память" одновременно и подстрекает к таким конфликтам, и является признаком неспособности вовлеченных в него людей справиться с причинами конфликта в той конкретной ситуации, в которой они живут» [Там же, с. 127].

Мегилл исходит из того, что память не является критической или рефлексивной способностью, что особенно отчетливо проявляется, когда воспоминания различных групп вступают друг с другом в противоречие. Поскольку непосредственно на уровне памяти конфликт «чья память достовернее» не может быть разрешен, то необходимое решение противоречия

между конфликтующими «воспоминаниями» может быть найдено только на другом уровне, где действуют не мнемонические критерии, а, например, критерии исторической достоверности.

Мегилл переносит акцент с аффирмативной функции историка на критическую составляющую его деятельности. В итоге он приходит к убеждению, что «история, скорее, должна элиминировать память и заменить ее чем-то другим, что не так привязано к потребностям настоящего» [Там же, с. 101].

На опасность раздробления истории, начинающей слишком усердно ориентироваться на память, обращал внимание и Пьер Нора, посвятивший свои исследования способу функционирования памяти и практикам поминовения в обществе. «То, что называют во Франции "национальной памятью", – не что иное, как захват, опровержение, затопление основной исторической памяти видоизменяющими ее воспоминаниями отдельных групп» [Нора, 2005. с. 131]. Он также призывает историю противостоять памяти, особенно в виде «долга памяти» (о котором речь пойдет далее), хотя и не отрицает претензии памяти на верность.

В книге «Память, история, забвение» Рикёр разбирает статью К. Помиана «От истории, части памяти, к памяти, части истории», как яркое выражение точки зрения сторонников превосходства истории над памятью. Помиан также ратует против эгоцентричной памяти, которая навязывает эту позицию истории. Именно ради создания истории, связанной с «точкой зрения, свободной от всякого эгоцентризма», Помиан утверждает отделение истории от памяти и превращения последней в «часть истории». Впрочем, в конце статьи Помиан демонстрирует, что выступает не столько за поглощение памяти историей, сколько за постоянную реорганизацию их отношений.

Даже такой беглый анализ показывает, что увязывание вместе истории и памяти глубоко проблематично. Тем не менее, важно подчеркнуть, что Рикёр не пытался ликвидировать это противоречие в своей концепции. Он опять-таки исходил из его наличия, хотя и призывал к примирению истории и памяти. В

этом смысле утверждение Мегилла о том, что «Критическая историография должна находиться на некотором расстоянии от памяти, во всех смыслах последней, и так же она должна быть одновременно связана и отстранена от настоящего» [Мегилл, 2007. с. 132] вполне согласуется с позицией Рикёра. Кроме того, можно привести еще несколько аргументов в пользу того, что в значительной степени позиции критиков памяти не могут серьезно поколебать концепцию Рикёра.

Во-первых, в отличие от многих критиков памяти, Рикёр исходил из презумпции достоверности памяти, которую современные когнитивные науки скорее подтверждают, хотя и открывая при этом различные причины и способы ее искажения. По словам Л.П. Репиной «Некоторые исследователи исходят из того, что "индивидуальная память нерепрезентативна". Эта оценка нуждается в корректировке, так как не учитывает сложного состава памяти индивида» [Репина, 2006. с. 31]. Индивидуальная память неоднородна, состоит из различных компонентов, которые можно разделить на персональную и социокультурную. По убеждению Рикёра, как бы ни была память социально и культурно детерминирована, «вопреки всем ловушкам воображения, можно утверждать, что специфическая потребность в истине имплицитна нацеленности на прошлую вещь» [Ricoeur, 2000. p. 66]. Эта потребность в истине и делает память необходимым компонентом познания.

Во-вторых, многие критики памяти (тот же Мегилл) склонны употреблять понятие памяти недифференцированно. В противовес Мегиллу Рикёр полагает, что память может быть рефлексивной (см. 1.1). Столкнувшись с «конфликтом воспоминаний», субъекты могут предпринять усилия по разысканию подтверждения или уточнения для своей памяти. Правда, для этого у них должна быть соответствующая установка на умиротворение, а не на конфликт. Таким образом, Мегилл и Нора порицают в первую очередь нерефлексивное использование памяти.

Так или иначе, Рикёр решительно выступает против лишения истории статуса матрицы памяти и низведения ее до простой области исторических

исследований. Он критикует подобные взгляды в лице К. Помиана, который концентрированно изложил данную позицию. Рикёр критикует его подход к проблематике свидетельства, которое сводится только к понятию следа. Память сводится к восприятию: кто-то что-то видел, но вопрос доверия к этому свидетельству опускается. Таким образом, у Помиана «проблематика присутствия того, кто отсутствует в репрезентации прошлого, так же как и всецело основанный на вере характер самого свидетельства очевидца (я там был, верьте мне или не верьте) с самого начала упускаются из виду» [Рикёр, 2004. с. 541]. Это приводит к тому, что в истории теряется субъект, в том числе и коллективный, и конструируется такое прошлое, «о котором никто не мог бы вспомнить» [Там же].

Идеи о неустранимости памяти придерживается и видный отечественный исследователь этой проблематики Л.П. Репина. Однако по ее мнению, между историей и памятью нет непреодолимого разрыва. История находится в постоянном диалоге с памятью, проверяя ее аргументы и утверждения на соответствие фактам, но «было бы ошибкой представлять, что в результате этого расследования, выудив из исторической памяти “достоверные” факты, проверив ее аргументы и реконструировав закодированный в ней опыт – т. е., превратив ее в *историю*, — мы покончили с памятью» [Репина, 2006. с. 42].

Кроме того, нужно отметить, что усиление критики памяти в конце XX века обусловлено как раз ее наступлением на позиции истории в результате чрезвычайного усиления роли памяти и свидетельства в осмыслении современности. Выступление против этого усиления защитников истории было своего рода действием в защиту равновесия между историей и памятью.

2.2.2. Память как соперница истории

Памяти в свою очередь также приходилось бороться с унифицирующим воздействием истории, стремившейся объединить все народы в один нарратив (марксистский, шпенглеровский, прогрессистский и прочие), дав им общую

судьбу, цель и прошлое с одинаковыми для всех этапами развития. Как уже отмечалось выше, противостоя подобной унификации, стала пробуждаться память неевропейских народов и меньшинств. На этот же процесс наложилась критика репрезентативных возможностей истории (см. 2.1). Все вместе это также привело к нарушениям равновесия между историей и памятью, но уже со стороны памяти.

В то же время, через 10-20 лет после Второй мировой войны память получила иной толчок к усилению своего влияния в европейском обществе. Общим фоном для усиления значения свидетельства и памяти стало, во-первых, вовлечение все большего количества людей непосредственно в орбиту исторических событий, а во-вторых, увеличение продолжительности жизни самих свидетелей. Пьер Нора назвал это явление «мемориальной эпохой»: «мир затопила нахлынувшая волна воспоминания» [Нора, 2005. с. 129]. «Слово «память» получило такой общий и экстенсивный смысл, что имеет тенденцию вообще попросту вытеснить слово «история» и поставить занятия историей на службу памяти» [Там же].

Сначала после ужасов войны и шока концлагерей европейское общество пыталось скорее вытеснить страшные картины из коллективного сознания. Но по прошествии времени необходимость осмыслить произошедшее взяла верх. Показательна, например, судьба книги итальянского писателя Primo Levi «Человек ли это?» [Леви, 2001], основанная на его личном опыте заключения в концлагере. Автор написал ее «по горячим следам» в 1946 году. Издать ее удалось небольшим тиражом в маленьком издательстве в 1947 году. Тогда книга не получила какого-либо серьезного отклика и не была воспринята обществом. Однако уже в 1957 году книгу все-таки приняло издательство «Эйнауди», она получила мировую известность и вызвала широкий резонанс. Вероятно, именно потому, что время, которое «все лечит», несколько понизило порог эмоциональности отношения к этим событиям, в результате чего многие свидетели смогли хотя бы начать говорить об этом (см. 2.1).

Вскоре применительно к недавнему прошлому стало доминировать такое

отношение, которое можно охарактеризовать как «долг памяти». Образно такое отношение можно выразить словами стихотворения Примо Леви, предпосланного им книге «Человек ли это?». Сразу после предисловия, заканчивающегося словами, что «ни один из фактов не является вымышленным» идет обращение к мирным людям, «живущим спокойно», и наказ:

«Представьте, что все это было:

Заповедую вам эти строки,

Запечатлейте их в сердце,

Твердите их дома, на улице,

Спать ложась, просыпаясь.

Повторяйте их вашим детям»

[Там же с. 10].

Западное общество как будто последовало наказу Примо Леви, причем с чрезвычайным усердием. Необходимость помнить, чтобы больше такого не повторилось, постепенно трансформировалась в просто необходимость помнить – в «долг памяти». Многие авторы уже писали об этом и приводили множество примеров.

Выразительными примерами могут служить ряд архивов воспоминаний людей, пострадавших от Холокоста: аудио (затем и видео) архив музея Йад Вашем в Израиле, архив Йельского Университета и др. Процессом сбора воспоминаний занялись не только специализированные организации (научные и музейные), но и представители массовой культуры, или просто энтузиасты. Примером могут служить видеоархив кинорежиссера Стивена Спилберга или книги воспоминаний блокадников²⁰ в России. Подобные коллекции свидетельств зачастую выходят за рамки того, что необходимо историкам для реконструкции событий прошлого, преследуя скорее цель сохранения воспоминаний как самостоятельной ценности. По утверждению Мегилла «в них

²⁰ Автору довелось поучаствовать в создании одной такой книги – «900 блокадных дней» (Новосибирск: ГПНТБ, 2004), воспоминания блокадников, живущих в Новосибирске.

стали видеть нечто подобное священным реликвиям». О сакрализации темы Холокоста и превращении практик сбора воспоминаний и мероприятий, посвященных памяти жертв, в ритуалы писал американский историк П. Новик [Novick, 1999].

Но сохранение свидетельств о войне было только прологом к «вакханалии воспоминаний» (Б. Гребенщиков) последних десятилетий XX века. Падение Берлинской стены и исчезновение Советского Союза дало толчок к «обретению памяти» в Восточной Европе, примером чего может стать ажиотаж вокруг открытия архивов Штази в бывшей ГДР. «Крах диктатур Латинской Америки, конец апартеида в Южной Африке и создание там Комиссии истины и примирения (*Truth and reconciliation commission*) стали вехами подлинной глобализации памяти; сведение счетов с прошлым проходило повсюду в очень различных и в то же время сопоставимых формах» [Нора, 2005. с. 132].

«Сведение счетов с прошлым» нашло свое отражение и в процессах над нацистскими преступниками, и в лоббировании различными национальными сообществами различных «законов о признании». Таким образом, покинув пределы истории память вышла даже в область права – феномен, который еще не получил достаточного осмысления. Если процессы над преступлениями нацизма еще находятся на полпути между правом и собственно памятью-свидетельством, требующей верности и доверия, то принятие законов, и особенно так называемых «охранных законов» – это уже пример памяти, ставшей привычкой, памяти воскрешающей, лишенной дистанции, а значит и диалектики присутствия того, что отсутствует.

Нора видит причины «всемирного торжества памяти» в сочетании двух крупных исторических явлений, характерных для современной эпохи. Первый феномен Нора называет «ускорением времени», второй – демократизацией истории. Под первым имеется в виду чрезвычайно быстрые изменения, происходящие в обществе, что приводит к тому, что жизненный опыт даже одного поколения обесценивается уже в течение его жизни. Становится неясно, что из прошлого может пригодиться, и чего при таких темпах изменений ждать

от будущего. Эта невозможность предугадать будущее и заставляет людей, по мнению Нора «благоговейно и неразборчиво собирать любые видимые знаки и материальные следы... Иначе говоря, именно конец всякой телеологии истории – конец истории с известным концом – возложил на настоящее тот «долг памяти», о котором нам без конца твердят» [Там же].

Под демократизацией истории Нора понимает предоставление права на место в истории тем, кто раньше был его лишен, начиная от всех неевропейских народов и женщин до маргинальных сообществ. Первоначально пробуждение памяти всех этих угнетенных групп носило характер демократичного протеста, протеста в том числе и против истории, «которая во все времена находилась в руках власть имущих, ученых или профессионалов» [Там же]. Обретение собственного прошлого для различного рода меньшинств стало условием утверждения их идентичности. И первоначально это обретение происходило на почве живой памяти их представителей: мы помним себя, отцов, мы (или они) страдали, мы оказались в какой-то ситуации и хотим понять, почему? Память «явилась как отмщение униженных и оскорбленных, история тех, кто не имел права на историю. Если память и не гарантировала истины, она гарантировала верность» [Там же с. 133]. Таким образом, по мнению Нора, изначально в расширении прав памяти доминировал позитивный призыв к эмансипации и равенству.

То значение, какое придавалось лично пережитым страданиям привело к новому явлению, к пересмотру отношения к памяти: «Что в ней ново... так это претензия на истину более «истинную», чем истина истории: истину живой памяти о пережитом» [Там же, с. 135]. Неожиданным образом в результате утверждения этой претензии «позитивный принцип эмансипации и освобождения, одушевлявший ее [сакрализацию памяти], оборачивается своей противоположностью и превращается в форму замкнутости, мотив исключения и орудие войны» [Там же]. В своей статье Пьер Нора приходит к заключению, что вопрос о причинах такого изменения положения является одной из важнейших проблем, требующих осмысления.

Данной инверсии позитивной роли памяти можно найти объяснение в концепции Рикёра о злоупотреблении памятью. Именно из-за ее основополагающего значения для истории неверное употребление памяти влечет за собой такие серьезные последствия. В книге «Память. История. Забвение» Рикёр артикулирует разные способы злоупотребления памятью, противопоставляя естественную и искусственную²¹ память.

Разделение естественной и искусственной памяти Рикёр строит на противопоставлении двух модальностей работы с памятью: припоминание (**remémoration**) как разыскание воспоминания и запоминание (**mémorisation**) как заучивание наизусть. Разница между ними состоит в том, что от запоминания в первую очередь требуется легкость воспроизведения, что является добродетелью хорошей памяти. Но в случае припоминания легкость, самопроизвольность вызывания в памяти есть повод для подозрения, как было показано в 1.2. Легкость воспроизведения – это признак памяти-привычки, которая облегчает нам существование в настоящем, и на физиологическом уровне она соотносится с имплицитной памятью, которая «служит проводником в устоявшейся повседневной деятельности, не контролируемой сознанием» [Кандель, 2012. с. 404], но при адаптации к новым обстоятельствам от нее часто приходится отказываться.

Если говорить о запоминании, которое Рикёр полагает искусственной памятью, то тут выделяются три уровня усложнения памяти: от обучения в несколько физиологическом смысле (вроде экспериментов по выработке условного рефлекса), к заучиванию наизусть (например, учениками в школе или актерами в театре) и затем к заучиванию наизусть больших объемов информации с помощью мнемотехник (в качестве примера приводится Ars

²¹ В переводе под ред. И.С. Вдовиной этот уровень запоминания называется «искусной памятью», хотя Рикёр использует слово *artificielle*, которое во французском языке означает «искусственный». Однако латинское *artificiosa*, которое Рикёр приводит в цитате из Цицерона, действительно имеет оба смысла, и искусный и искусственный. Вероятно, эти коннотации и хотели передать переводчики, но, к сожалению, из-за этого теряется противопоставление двух модальностей памяти, вводимых Рикёром. Хотя выражение «искусственная память» в русском языке звучит и не очень хорошо, полагаем, что при наличии пояснений лучше использовать его.

metodiae эпохи Возрождения).

Важным в отношении памяти как запоминания является возможность присутствия некоего внешнего фактора, обуславливающего необходимость заучивания, который может направлять обучение. На самом простом уровне живое существо овладевает новыми для него формами поведения, но это может происходить в естественных условиях или в условиях эксперимента, когда хозяином положения является экспериментатор, определяющий условия, цели и задачи обучения и критерии успеха. То же самое касается и следующего уровня заучивания, где требуется уже большая степень участия и самостоятельности обучающегося, но все еще присутствует элемент руководства и искусственности ситуаций. Так школьное обучение контролируется учителем, деятельность актера направляется режиссером, и профессионалы разного рода, от музыкантов до юристов должны заучивать наизусть большие объемы информации для прохождения различного рода квалификационных испытаний, кем-то для них установленных.

Несмотря на ситуацию управления памятью со стороны, Рикёр не рассматривает ситуации злоупотребления на этих двух уровнях. Здесь условия диктует не столько экспериментатор или педагог, сколько сама задача обучения и материал, который необходимо запомнить. То есть, задача запоминания имеет прагматичный характер, который обусловлен стремлением получить определенный результат. Однако если идти дальше в стремлении запоминать, то прагматизм утрачивается, а запоминание превращается в самоцель.

Третий уровень запоминания отличается от двух предыдущих тем, что здесь обучающийся сам сознательно руководит своим обучением. Но и это не спасает от манипуляций и злоупотреблений на этом самом высоком уровне запоминания. Для Рикёра важно это обстоятельство – отсутствие взаимодействия с другим. Именно этот критерий позволяет отделить этот третий уровень от предыдущих двух, а вовсе не объем информации, который необходимо запомнить. В первую очередь одинокий разум склонен к

злоупотреблению искусственной памятью.

Главной чертой этого третьего уровня является стремление к абсолютному запоминанию, что приводит к отрицанию забвения. Вторая проблема такой чрезмерной памяти состоит в «соединении мнемотехники и оккультной тайны» [Рикёр, 2004. с. 98], которое происходит в результате преувеличения роли памяти как силы, дающей власть. Это возвеличивание памяти имеет давнюю традицию, начиная с провозглашения в античности деяний тренированной памяти «почти божественными», и далее через средневековые традиции искусной памяти как части риторики (одного из семи свободных искусств) к тому, что в эпоху Возрождения «память наделяется божественной способностью, той способностью, которую сообщает абсолютное господство искусства, занятого согласованием астрального и земного порядков» [Там же]. В чем может состоять опасность такого чрезмерного *Ars memoriae*?

Во-первых, искусство памяти «становится преувеличенным до крайности отрицанием забвения, а постепенно и тех несовершенств, которые присущи и сохранению следов, и вызыванию их в памяти» [Там же, с. 100]. Отрицание забвения чревато двумя основными проблемами: сохранением в памяти того, что мешает жить и сковыванием воображения, заменяемого на повторение реальности. И то, и другое стоит на пути нормального человеческого существования, поскольку человек, вечно находящийся в плену пережитых кошмаров теряет волю и способность жить, а человек, лишенный воображения, теряет способность создавать новое.

Во-вторых, искусственное запоминание, находящееся как бы полностью в управлении самого субъекта памяти, игнорирует то, что Рикёр называет «принудительным характером следов», то есть независимость памяти. Способность памяти запечатлевать воспринятое независимо от желания субъекта восприятия и позволяет ей быть когнитивным инструментом. Отрицание этого «принудительного характера следов» приводит к тому, что Рикёр, вслед за Ф. Йейтс, называет «алхимией воображения». Представление о том, что искусная память есть божественная сила, дает иллюзию власти над

вещами, и уверенность, что носитель этой власти может сам решать, что он должен помнить. Таким путем «воображение, освободившееся от служения прошлому, заняло место памяти» [Там же].

В-третьих, отрицая несовершенство сохранения следов и их принудительный характер, искусная память отдает приоритет запоминанию перед припоминанием. Но заставить себя запомнить можно абсолютно все, что угодно: приснившиеся танцы единорогов на облаках и список вещей, которые нужно взять с собой при полете на Марс. Поэтому запоминание не может быть матрицей истории, и его нужно тщательно отграничивать от припоминания. Запоминание для общества – это энциклопедии знаний, а история, хотя и хранит сведения о прошлом, не может оставаться только в этих рамках.

В силу всех перечисленных недостатков: отрицание забвения, произвольный характер запоминания, непосредственность извлечения информации превращают искусную память в искусственную, замкнутую на себе. Коллективная историческая память в случае если она функционирует по модели искусной памяти становится опасна для общества, а утверждение такого типа памяти в качестве матрицы истории отрицает саму сущность исторической науки.

Хотя Рикёр разделяет неправильное использование естественной и искусственной памяти, представляется полезным сопоставление чрезмерности искусственной памяти с тем способом неверного использования естественной памяти, который Рикёр характеризует как этико-политический. Этико-политический аспект использования памяти для создания коллективной идентичности выражается в том, что Рикёр называет «память-долг». Такое сопоставление уместно в силу общей для них тенденции к чрезмерности, к которой память-долг добавляет императивный импульс. Именно это сочетание в конечном итоге и оборачивается для памяти тем, о чем сетовал Пьер Нора: «замкнутостью, мотивом исключения и орудием войны».

Само по себе понятие долга памяти выражает естественную необходимость помнить об ошибках прошлого на благо будущего. Это

естественный императив памяти, делающий ее инструментом познания мира. Необходимость конструирования коллективных идентичностей и использование памяти в идеологических целях диктует другую необходимость – сохранение коллективных воспоминаний, памятных дат, основополагающих для сообщества. Это привносит в память-долг элемент искусственности: от управления памятью со стороны власти/государства до идеи заучивания «уроков прошлого». Здесь возникает опасность замыкания друг на друга памяти-долга и «алхимии воображения». Самым драматичным примером такого замыкания, о котором Рикёр не говорит прямо, но постоянно имеет в виду в книге «Память. История. Забвение» является история Третьего рейха.

Почему так происходит и что можно противопоставить этим чудовищным событиям? Не наказ ли помнить о преступлениях нацизма, жертвах Холокоста и Второй мировой войны? Позиция Рикёра такова, что этот наказ должен быть дополнен дистанцированным и критическим взглядом историка. Даже если этот взгляд толкает нас в «сферу конфликтов между индивидуальной, коллективной и исторической памятью в той точке, где живая память выживших людей наталкивается на, взгляд историка» [Рикёр, 2004. с. 127]. Наказ помнить не должен быть истолкован как обращенный к памяти призыв действовать в обход работы истории.

В свете идей Рикёра о злоупотреблении памятью, интересно сопоставить ситуацию «мемориализации» в западных странах и в России. С одной стороны, сегодня и в России можно говорить о сакрализации памяти о войне, однако в центре этой памяти находятся не невинные жертвы нацизма, а именно павшие в бою за свободу и независимость Родины. Роберт Рождественский, так же, как и Примо Леви, в очень схожей риторике призывал помнить:

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли, помните!

К мерцающим звездам ведя корабли – о погибших помните...

Мечту пронесите через года, и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда, – заклинаю, – помните!

(Р. Рождественский «Реквием», 1962 год)

Хотя конкретно в этих строках и говорится о погибших в широком смысле, однако вся поэма «Реквием», начинающаяся со слов «Вечная слава героям», говорит именно о павших солдатах, напоминая о том, какие жертвы пришлось принести Советскому Союзу («Какою ценой завоевано счастье, помните!»). Сопоставление объектов сакрализации на Западе и в СССР интересно само по себе и заслуживает изучения. Однако в данном исследовании, сосредоточенном на теоретических основаниях истории, нет возможности подробно останавливаться на этом вопросе. Заметим лишь, что в обоих случаях имеет место сакрализация жертвы, однако в западной культуре оно изначально было направлено на признание и искупление вины (за то, что «прогрессивное человечество» допустило зверства нацистов), а в советской – на маскировку вины и оправдание существующей ситуации (миллионы погибших, как во время войны, так и до нее – это необходимая патриотическая жертва).

Сегодня мы видим усиление той же риторики, но с перенесением акцента с возвеличивания жертвенности и потерь на героизм. Но если потери и жертвы – это реальное содержание народной исторической памяти, на которое может опираться не только оправдание прошлого, но и желание никогда больше не повторять такого ужаса, то современная помпезно-бравурная идеология победы не имеет отношения к реальному историческому опыту народа. Об этом сегодня говорят достаточно много, в качестве примера можно привести высказывание историка Н. Соколова: «Эти символы [*основные атрибуты празднования – георгиевская лента, ветераны, парад победы*] ни в какой степени не являются памятью. Более того, это указание на место забвения, это такой шрам, след – здесь было что-то важное, но мы об этом теперь ничего не помним и даже узнавать не желаем. Там внутри должен был быть опыт победы, опыт войны...» [Соколов, Медведев, Мовчан 2015].

С идеологией победы тесно связано «отсекание» реальной исторической памяти народа о довоенном периоде советской истории. Утверждается, что

победа была бы невозможна без всей предыдущей политики Сталина, то есть, без репрессий, депортаций, коллективизации. Исследования исторической памяти показывают поразительную вещь: сталинскую эпоху многие россияне в 1990-м году и в 2007-м году одинаково воспринимают как «золотой век», сталинизм для них предстает хорошо организованным обществом сознательных тружеников [Хапаева, 2007. с. 120]. Подавляющее большинство опрошенных считали, что «при Сталине в стране была прочная трудовая дисциплина» и что «люди добросовестно работали». Треть опрошенных считали, что в «стране царила атмосфера радости и оптимизма». При этом более 90% опрошенных были осведомлены о репрессиях, проводимых в это время в стране, 63,5% понимали, что речь шла о десятках миллионов жертв, а 62% считали репрессии ничем не оправданными [Там же]. Таким образом, при почти полном осознании факта репрессий, массовое историческое сознание не сохранило памяти о перенесенных страданиях и унижениях, к которой можно было бы обратиться сегодня и извлечь из нее какой-либо опыт.

Нежелание государства открывать архивы поддерживает эту ситуацию [Петров, 2015]. Происходит сакрализация того, что никак не связано с какой бы то ни было реальной памятью – личной, семейной, народной, исторической. Тем не менее, на месте исторической памяти государство конструирует свою, официальную версию памяти, исходя из которой должна выстраиваться история. В итоге утверждается государственный идеологический нарратив, никак не связанный хоть с какой-нибудь репрезентацией прошлого.

Таким образом, можно предположить, что в России на данный момент также имеет место замыкание долга памяти на «алхимию воображения», когда «воображение, освободившееся от служения прошлому, заняло место памяти». Об этом сегодня говорят и публицисты, и историки: «совершенно очевидно, что у нас есть достаточно серьезная проблема с исторической памятью, есть достаточно серьезная проблема и необходимость десталинизации общества, то есть необходимость завершения той задачи, перед которой страна как минимум вставала дважды – в конце 50-х - начале 60-х годов и в конце 80-х - начале 90-х

годов» [Красильников, 2016].

Может быть, эта память не хуже, и даже лучше, чем настоящая? Если она как бы дает нам позитивное прошлое, то может помочь выстроить позитивное будущее? Именно на это, кажется, и рассчитывают те, кто последовательно проводит такую политику вытеснения из массового сознания реальной исторической памяти, заменяя ее торжественной официальной историей.

Вся философия Рикёра и все его труды предостерегают от подобных размышлений. Такая позиция в отношении памяти также отрицает «было» прошлого, как претензии на окончательность образа прошлого отрицают его «больше нет». Рассуждая в том же ключе в эссе «Истина и политика», Ханна Арендт также отмечает, что, хотя у государства есть мощные механизмы информационного давления, способные убедить кого угодно в чем угодно, такие действия разрушают саму основу существования государства и жизненного мира в целом: «Уговоры и насилие могут разрушить истину, но не могут ее заменить» [Арендт, 2014. с. 383], в том смысле, что только представление об истинных фактах может дать человеку реальную почву, опираясь на которую, он может действовать.

Сопоставление Рикёром истории и памяти направлено на то, чтобы продемонстрировать, как именно жизненный мир укоренен в реальных воспоминаниях и почему ничем нельзя заменить истину. Можно спорить о том, что считать истинными фактами. Как пишет Арендт: «В понятийном отношении истиной можно назвать то, чего мы не можем изменить; в метафорическом отношении истина – это земля, на которой мы стоим, и небо, распростершееся над нами» [Там же, с. 389]. Для Рикёра истина начинается с принудительности следов, в каком бы значении мы ни использовали это слово, применительно ли к человеческому восприятию или остаткам прошлого. Это же свойство подразумевает Арендт, когда приводит следующую иллюстрацию своего представления об истинных фактах: «Что, по вашему мнению, – спросили у Клемансо, – скажут по этой трудной и противоречивой теме [*кто в действительности инициировал Первую мировую войну*] историки будущего?»

И он ответил: «Не знаю. Но я точно знаю, что они не скажут, будто это Бельгия напала на Германию» [Там же с. 352].

* * *

Рассматривая взаимоотношения памяти и истории, Рикёр стремится не впасть ни в одну из крайностей: ни в порицание памяти, как способности к адекватной репрезентации прошлого, ни в принижение истории перед лицом достоверных свидетельств. Рикёр утверждает симметричность двух составляющих одного процесса осмысления прошлого: историзация памяти, то есть рассмотрение памяти как феномена культуры инициирует процесс, «в котором история осуществляет свою корректирующую истинностную функцию в отношении памяти, постоянно выполняющей по отношению к ней свою функцию матрицы [Рикёр, 2004. с. 546-547].

В этом двусоставном процессе залог достоверности познания прошлого. И история, и память, поскольку обе обращены к прошлому, не могут определить первенство между собой. Но именно это диалектическое противостояние позволяет избежать двух опасных крайностей: «того *hybris* [*высокомерия*], которыми были бы, с одной стороны, претензия истории на низведение памяти в ранг одного из ее объектов, а с другой стороны – претензия коллективной памяти на подчинение истории путем злоупотребления памятью, каковым могут стать мемориальные церемонии, навязываемые политической властью или группами давления» [Там же, с. 547].

Позиция Рикёра состоит в том, что, хотя история может (и должна) дополнить, уточнить или даже опровергнуть свидетельство памяти относительно прошлого, но она не в состоянии упразднить память. Причина этому кроется с одной стороны в онтологии: «Потому что, как нам кажется, память остается хранительницей высшей конститутивной диалектики прошлости прошлого, то есть отношения между "больше не", подчеркивающим характер завершенности, упраздненности, преодоленности, и "было",

говорящем об изначальном и в этом смысле нерушимом характере» [Там же, с. 690].

С другой же стороны, причина неустранимости памяти кроется в этике: память децентрирует исторического субъекта, она позволяет увидеть прошлое в разнообразии и в итоге расширяет коллективный исторический опыт. При сохранении корректирующей роли истории, память сохраняет этот освобождающий, демократизирующий, антирепрессивный импульс, о котором писал П. Нора.

Очевидно, что соперничество между памятью и историей, между верностью одной и истинностью другой не может быть разрешено раз и навсегда. Ревностно исполняя каждая свою функцию, обе они предъявляют права на первенство. Этот спор не может быть выигран с помощью только эпистемологических процедур. Рикёр переносит его на другую сцену – сцену, принадлежащую читателю истории, которая вместе с тем является и сценой рассудительного гражданина. «Получатель исторического текста должен и лично, и в плане публичной дискуссии поддерживать равновесие между историей и памятью» [Рикёр, 2004. с. 691]. Эта ответственная роль возлагается на читателя истории потому, что он вместе с тем является и действующим лицом истории, несущим ответственность за последствия.

2.3 История как научная наследница памяти

«Бог – в деталях», писал Аби Варбург. Но вечный вопрос для исторического исследования (да и для любого другого тоже) – это вопрос релевантности. Какие именно данные должны быть приняты во внимание, какие отброшены, ведь избыток деталей лишает их способности быть «уликой», единичным следом, требующим интерпретации. Когда следует остановиться в своем стремлении к детальному познанию прошлого? Иная память может хранить очень много, а тем более память множества людей. Где граница между достойными изучения деталями прошлого и «узором пены под веслом на Рио-

Негро в канун сражения под Кебрачо» [Борхес, 2000. с. 153], который мог воскресить в своей чудесной памяти борхесовский Фунес?

В последнее время все чаще звучат соображения, что отнюдь не только недостаток информации мешает познанию прошлого, но и ее избыток. Так Лоуэнталь писал, что «согласованное знание о прошлом находится в обратной пропорции по отношению к тому, как много известно о нем *in toto*» [Лоуэнталь, 2004. с. 374]. Далеко не все детали прошлых событий, которые мы можем узнать, имеют для нас одинаковое значение. И в то же время, в истории исторического письма множество примеров, когда то, что по началу не имело никакого значения, со временем выходило на первый план. Эта перемена обусловлена смыслом, который мы вкладываем в изучение истории. Смысл же событиям мы придаем, как уже было сказано, с помощью нарративов.

Как уже отмечалось выше нарративность является неотъемлемым измерением человеческого мышления, посредством которого мы можем воспринимать время как непрерывное и дискретное, то есть, как «несогласное согласие» (см 2.1.4.). По мнению Рикёра, история, как наука о людях во времени, также не может обойтись без нарратива, который является неотъемлемым условием научности истории. Далее в этом разделе будет рассмотрено, как именно нарратив работает на достоверность исторического знания, какие ограничения, связанные с его использованием, необходимо учитывать исторической науке и любому осмыслению прошлого. Для раскрытия темы также следует задаться вопросом, учитывал ли Рикёр эти ограничения в своей концепции, и позволяет ли последняя найти способы их преодоления.

Онтологической предпосылкой надежности истории является наше доверие к собственной памяти. Но достоверность – это лишь обещания, которое может быть выполнено, а может и не быть. Выполнение этого обещание связано с соблюдением определенных процедур написания истории. Этот процесс написания научной истории Рикёр (вслед за Мишелем де Серто) называет историографической процедурой. В данной главе пришло время обратиться к

тому, как Рикёр видит историографические операции, которые и делают историю именно научной наследницей памяти.

2.3.1. Историографическая процедура

Понятие историографической процедуры²² Рикёр заимствует у своего коллеги Мишеля де Серто, хотя под этим выражением они подразумевают довольно разные значения. Серто называл таким образом «процедуру, с помощью которой осуществляется переход от практики исследования к письму» [Серто, 2014. с. 49]. Однако Рикёр не считает возможным отделить практику исследования от письма. Заимствуя трехчленную структуру историографической процедуры у Серто, Рикёр иначе представляет ее составляющие и внимательно анализирует сложные отношения между ними, выделяя три операции²³ этой процедуры: документальную, операцию объяснения/понимания и репрезентативную. Эти операции возможно разделить только в целях анализа, в реальной исследовательской практике они тесно взаимосвязаны, при этом каждая из них сопровождается письмом. Во второй части «История. Эпистемология» своего труда «Память, история, забвение» Рикёр тщательно разобрал каждую из этих операций, но невозможно составить достаточное представление о роли нарратива в историографической процедуре без обращения и к другим его трудам, в особенности к первому тому «Времени и рассказа».

Кратко охарактеризуем каждую из операций.

Документальной операцией Рикёр называет накапливание материальных доказательств, включая сюда как фиксирование показаний очевидцев и создание

22 Рикёр, как и М. де Серто употребляет слово «*opération*», которое можно перевести и как «операция», и как «процедура». В русском тексте «Памяти, истории, забвения» используется первый вариант. При публикации главы «*Opération historiographique*» из книги Мишеля де Серто «Писание истории» переводчик употребил слово «процедура» (см. Серто 2014).

23 Во французском тексте Рикёр использует слово «*phase*», которое русские переводчики переводят как «фаза». При этом Рикёр подчеркивал, что эти три фазы ни в коем случае не подразумевают их хронологической последовательности, называя их «методологическими моментами», которые постоянно наслаиваются друг на друга в работе историка. Поскольку понятие «фаза» накладывает трудноустраняемую коннотацию сменяющих друг друга состояний, в данной работе используется слово «операция».

архивов, так и отбор и изучение историком документов, релевантных его исследованию. Значительная часть этой работы связана с письмом, а именно письменное фиксирование свидетельств, описание событий в форме отчетов, писем и прочих разновидностей документов. Помимо того, что часть этих документов имеет нарративную структуру, нарратив вмещивается в эту операцию еще на стадии формирования архивов и сохранения тех или иных следов прошлого. Сохраняется то, что в каком-либо отношении представляется значимым, а степень значимости определяется в соответствии со смыслообразующими структурами, имеющими нарративную природу. Точно также как нарратив вкрадывается в работу исследователя вместе с решениями о том, какие свидетельства релевантны, а какие нет, то есть, вместе с постановкой вопроса.

Операцией объяснения/понимания²⁴ Рикёр называет поиск разнообразных ответов на вопрос «почему?», предполагающих употребление союзов «потому что». Здесь нарратив выступает также в нескольких амплуа. Во-первых, явление, которое требует объяснения/понимания, уже описано, причем именно нарративным образом, поскольку сама постановка проблемы уже требует рассказа. Поиск ответа на вопрос, почему нечто произошло так, а не иначе, опять же, определяет круг отбираемых свидетельств, которые в свою очередь, формируют ответ и могут изменять саму постановку вопроса, что тесно связывает объяснение/понимание с документальной операцией, а поиск ответа на него определяет логику исследования. Во-вторых, процедуры объяснения/понимания определенным образом коррелируют с процессом построения интриги, что отсылает нас к репрезентативной операции.

Репрезентативная операция подразумевает представление полученного ответа на вопрос «почему?» в письменной форме в историческом труде. Такое изложение, как показывает Рикёр, осуществляется главным образом в форме

24 Рикёр использует двойной термин «объяснение/понимание» как дань памяти важным для историографии XX века спорам. Процессы объяснения и понимания можно разделить только в целях логического анализа, и теперь очевидно, что для построения адекватной картины событий прошлого важны обе операции. Посему Рикёр считает спор о соотношении объяснения и понимания в историческом исследовании исчерпанным, чем и объясняет употребление двойного термина.

нарратива. Исторический труд, таким образом, является репрезентацией сразу в двух смыслах: представляет одновременно и результат работы историка, и события прошлого. Именно это наложение смыслов так обостряет проблему достоверности исторических текстов.

Таким образом, только последняя операция у Рикёра сопоставима с тем, что Серто называл историографической процедурой, то есть, воплощением практики в письме. Чтобы перейти к проблемам нарративного изложения истории, обратимся к тому, как характеризовал эту операцию Серто. Если Рикёр в нарративе видит как бы проводника исследования, то Серто акцентирует внимание на тех аспектах, в которых текст вступает в конфликт с практикой: «устройство текстового пространства ведет за собой целый ряд искажений, которым подвергаются процедуры анализа. Можно даже сказать, что дискурсивное изложение навязывает законы, противоположные правилам практики» [Серто, 2014. с. 49]. Серто обращает внимание на три основных противоречия:

1) Практика исследования, как полагает Серто, отталкивается от явления, которое исследователь пытается объяснить, и идет от следствий к причинам, продвигаясь вглубь времени. Однако при написании текста исследователь начинает свое изложение с самой отдаленной точки во времени, двигаясь в порядке, обратном исследованию.

2) Исследование не имеет границ²⁵, но текст всегда ограничен с двух сторон: «эта конечная структура вновь отсылает к предисловию, заранее запрограммированному требованием финала» [Серто, 2014. с. 50].

3) Письменная репрезентация событий прошлого всегда наделяется полнотой: даже если многое остается неясным, исследователь должен предоставить максимально целостную картину, давая объяснения, предположения. Серто называет это «заменой работы пробела на представление смысла» [Там же].

²⁵ Так же как и Д.С. Лихачев писал, что «если в конце исследования не видно начало следующего – значит, исследование не доведено до конца» [Лихачев, 1996. С. 34], П. Вен рассматривал труд историка как «удлинение вопросника».

Может показаться удивительным, как Рикёр оттолкнувшись от подобных рассуждений пришел к выводу о том, что только нарратив и дает возможность «увидеть» картины прошлого. Однако еще в начале 80-х годов во «Времени и рассказе» Рикёр писал, что связь между историографией и нарративной структурой не может быть непосредственной. На самом деле и Серто пишет о том же: письмо скрывает, переворачивает, но скрывая оно – проявляет. Точно так же как наброшенный на предмет покров прячет его от глаз, но проявляет его очертания и подчеркивает стремление его скрыть. Серто для иллюстрации использует образ зеркального письма, которое шифрует и переворачивает, но, подставив зеркало, его можно прочесть. Или, мысленно представляя правила его трансформации, можно прочесть и без зеркала.

Таким образом, и Серто, и Рикёр, оба подчеркивают то, что между текстом и практикой имеется зазор, лакуна. Чтобы перебраться с одной стороны на другую, требуется соблюдать определенные правила или проделать ряд операций, которые и составляют историографическую процедуру. Но даже аналитически разделяя исследование истории на ряд логических операций, невозможно хоть одну из них представить без участия нарратива, также как и текст, в который воплощается практика, имеет нарративную структуру.

2.3.2. Нарратив как элемент историографической процедуры

О значении нарратива для истории и для литературы писали многие исследователи: одни доказывали нарративную структуру любого повествования, в том числе и исторического, другие не принимали эту идею и критиковали ее. Первоначально неприятие нарратива основывалось на его упрощенном понимании как «всего лишь рассказа» и на его тесной связи с литературой. История же середины XX двадцатого века как раз с некоторым запозданием пыталась конституироваться как позитивистски понимаемая наука, которой были противопоказаны всякие подозрительные связи с литературой. Основные противники нарративности истории как раз выдвигали концепции,

призванные сделать историю более «научнообразной».

Нарративисты критиковались за слишком литературный взгляд на дисциплину, которая претендует на достоверность и научность, поскольку внимание к литературному изложению результатов работы историка чревато упущением ее сущности, которая состоит в объяснении событий, оценке источников, то есть, той работы, которая лежит за рамками изложения. Предполагалось, что рассказ, повествование есть лишь один из путей изложения результатов работы историка для всеобщего пользования. Так представители «второго поколения» школы Анналов отрицали способность нарративной истории быть легитимной формой производства знания, противопоставляя ей «проблемноориентированную историю». Это противопоставление основывалось на понимании нарративной истории как простого рассказа о последовательности явлений. Бродель полагал, что проблемноориентированная история не пользуется рассказами, а излагается в иной форме. Довольно скоро Дж. Хекстер в статье «Фернан Бродель и броделевский мир»²⁶ показал, что проблемная ориентированность истории вовсе не исключает ее нарративности. Рикёр также показал, что к знаменитой работе Броделя «Средиземноморье...» можно подойти как к нарративу, выделив в нем квази-персонажей и квази-интригу: «ключевая оппозиция между двумя Средиземноморьями и закат их столкновения» [Рикёр, 2000. с. 248]. Таким образом, он использовал знаменитый труд (в котором Бродель стремился отойти от поверхностной событийной истории, которая, как он полагал, только и организована в форме рассказов) для того чтобы продемонстрировать работу предложенных им посредников перехода от исторического исследования к рассказу.

В англо-американской традиции теоретики истории также пытались избавиться от того, что они считали ее досадными недостатками, мешающими ей стать полноценной наукой. Например, Ч. Бирд и Д. Уолш каждый по-своему разоблачали использование историей организующих схем, не основанных на

26 J. H. Hexter. Fernand Braudel and the Monde Braudellien... // The Journal of Modern History 1972 Vol. 44, No. 4.

эмпирических данных, а произвольно выдвигаемых исследователем. Однако довольно скоро стало ясно, что, хотя подобная критика истории и была совершенно справедлива, но она справедлива и в отношении науки вообще. Как выразился Артур Данто: «Различие между историей и наукой состоит не в том, что история использует, а наука не использует организующих схем, выходящих за пределы данного. Их использует и та и другая. Разница заключается в том, какого *вида* организующие схемы они используют. *История* рассказывает истории» [Данто, 2002. с. 109]. В последствии, в труде «Память, история, забвение» Рикёр доказывал, что, хотя разница действительно есть, но это не предполагает какого-то непреодолимого противоречия истории и науки.

Другой попыткой противопоставить историю «просто рассказу», а заодно придать ей научный статус стала концепция генерализирующих законов Карла Гемпеля²⁷. Гемпель полагал, что любое объяснение причин события должно включать хотя бы один общий закон (а значит, и возможность предсказания события в будущем). Такой подход в свою очередь вызвал неприязнь со стороны историков. Некоторые теоретики, как У. Дрей, утверждали, что историки вообще не используют и не нуждаются в использовании каких-либо законов.

Артур Данто попытался примирить позиции сторонников и противников генерализующих объяснений в истории. Он пришел к выводу, что «вопрос об общих законах в некотором важном смысле связан с вопросом о том, как описаны явления и события» [Данто, 2002. с. 208]. Мы объясняем не сами события, как таковые, но их описания: только то событие, которое описано, можно объяснять. Как доказывает Данто, есть такие описания событий, которые предполагают использование общих законов, и такие, которые не предполагают, и что «если первоначальный экспланандум не предполагает какого-то общего закона, то его можно заменить другим, который требует такого закона, и наоборот, поэтому вопрос об общих законах в некотором важном смысле связан с вопросом о том, как описаны явления и события» [Там же]. Это было очень

27 Гемпель К. Г. Логика объяснения. М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998

важным замечанием даже вне контекста спора о применимости общих законов в истории. Данто одним из первых обратил внимание на то, что какое бы событие мы ни взяли в истории, в момент, когда мы его называем, мы уже даем ему какое-то описание, которое неявно представляет его частью нарратива.

Рикёр во многом опирался на выводы Данто и полагал, что в истории возможно максимальное многообразие форм объяснения. Однако он считал, что американские нарративисты (к которым относится и Данто) подменяют нарративной связностью историческое объяснение [Рикёр, 2004. с. 337], и именно это вызывает такие серьезные возражения против нарративной истории. Рикёр же утверждает, что акт построения интриги служит переходным элементом, посредником между рассказом и собственно причинным объяснением. Объяснение с помощью охватывающего закона отнюдь не противоречит нарративному характеру истории. Это можно связать с тем, что нарративная структура «начало-середина-конец» изоморфна структуре объяснения «причина-событие-следствие».

При этом нарративное обрамление выявленных закономерностей компенсирует то, что упускает из виду концепция охватывающего закона – релевантность события, его значение для разных социальных групп и индивидов и относительно других событий, вероятные зависимости и взаимосвязи. Концепция охватывающего закона не позволяет установить, какие именно события релевантны для определенного сюжета или исследования, в то время как «любой тип повествования ... предполагает наличие критериев оценки значимости, в соответствии с которыми события включаются или не включаются в повествование» [Данто, 2002. с. 136].

В итоге конфигуративные свойства нарратива, его способность наглядно представлять объяснения сейчас уже мало у кого вызывают сомнения. В конце концов, можно сказать, что утвердилась точка зрения, которую можно выразить тезисом Артура Данто: «Я заявляю, что невозможно дать полное описание события, не прибегая к повествованию» [Там же, с. 138]. Таким образом, нарративы обнаружались не только в области исторических повествований, но

и практически во всех областях человеческого опыта. Основной тезис нарративистов заключается в том, «что исторические процессы невозможно понять, не принимая во внимание осмысленные интерпретации событий в нарративах акторов» [Борисенкова, 2010. с. 332].

Такая ситуация поставила ряд новых проблем, общих для всех областей человеческого опыта, пронизанных нарративом. Самый базовый вопрос можно кратко сформулировать так: откуда берется смысл, вкладываемый нарратором в нарратив? Он уже присутствует в реальности или он конструируется в рамках нарратива и не выходит за его пределы?

Соответственно, возможны два базовых ответа на этот вопрос, но каждый из них в свою очередь ставит ряд проблем.

- Если смысл конструируется только в рамках нарратива, то это:

а) открывает доступ для искажений конструирования прошлого в чьих-то корыстных (или пусть даже бескорыстных) интересах;

б) позволяет сконструировать любой возможный смысл подстроить под него необходимый для его обоснования нарратив.

- Если смысл уже присутствует в реальности, то:

в) каким именно образом он передается от реальности к нарративу?

г) с помощью каких признаков определяется адекватность его передачи?

Признавая большое значение именно нарративной формы для исторического познания, Рикёр не мог обойти стороной эти вопросы. Но его ответы на них не так легко извлечь из его текстов, они не всегда лежат на поверхности. Например, досадно видеть в философском словаре утверждения, что Рикёр считал, «что мы открываем в жизни смысл и порядок, уже там неявно содержащиеся, и что задача нарратива их скопировать, отразить, представить» [Трубина, 2004, с. 416]. Однако надо признать, что нюансы рассуждений французского философа, которые отличают его концепцию от характеристики Е.Г. Трубиной, могут ускользнуть от поверхностного взгляда.

Как уже подчеркивалось, то, что предшествует нарративу в жизни, есть изменение положения вещей и получаемый таким образом временной опыт.

Хотя, в некотором смысле, нарратив действительно имеет дело с предшествующими ему явлениями и взаимосвязями, которые он стремится представить, однако очень важно осознать, что их смыслы не «содержатся в жизни», и установить, откуда они берутся. Так, в жизни имеется очевидная связь между семенем и его плодами, и, в принципе, можно сказать, что смысл семени в том, чтобы дать урожай. Но тогда нужно, чтобы у способности давать урожай тоже был смысл, который приводит либо к человеку, нуждающемуся в плодах, либо к продолжению жизни самому по себе. Есть ли смысл у продолжения жизни или это самоценность? Но и сам поиск смысла возможен только потому, что кто-то может задать вопрос: «В чем смысл?», утверждая таким образом, что семя, помимо способности давать урожай, еще должно быть наделено свойством «иметь смысл».

Таким образом, в жизни неявно содержится не смысл, а взаимосвязи, которые, зачастую, нужно еще обнаружить. Если зависимость, например, между стрелой и убитым животным налицо, то как раз связь между семенем и урожаем не очевидна. А чтобы ее обнаружить, требуется способность проследивать изменения во времени, которая, как утверждает Рикёр, проявляется и артикулируется только в нарративных структурах.

Смысл же, который обнаруживается в жизни, есть результат предпонимания мира, которое Рикёр характеризует через «овладение сеткой взаимосвязей (*réseau d'intersignification*), конституирующих семантику действия, через знакомство с символическими опосредованиями и с донарративными способами человеческого действия» [Ricoeur, 1983, p. 123]. Иными словами, если человек рассказывает о каких-то событиях, которым он был свидетелем, он уже в процессе восприятия должен был обозначить каким-либо образом предметы и действия, а эти обозначения уже сами задали определенные отношения к ним и между ними. Но сами это смыслы были присвоены явлениям в результате предыдущих попыток понять мир. Этот процесс постоянного переустройства человеческого опыта Рикёр называет миметическим кругом.

Миметический круг очень напоминает уже известный всем круг герменевтический: «герменевтический круг между рассказом и временем постоянно возрождается в круге, который образуют стадии мимесиса» [Рикёр, 2000, с. 93]. Разница в том, что герменевтический круг обычно мыслится как процесс интерпретации знаковых систем с опорой на другие знаки, Рикёр же включает в него феномены материального мира. Это одно из следствий его «феноменологической прививки» герменевтике (см. Рикёр 1995). То есть, миметический круг это как бы герменевтический круг, перенесенный из области знаковых систем в сферу взаимоотношений между миром практики и его символической репрезентацией.

В своем понимании мимесиса Рикёр отталкивается от идей Аристотеля и Э. Ауэрбаха²⁸ и выстраивает концепцию трех стадий мимесиса (см. Рикёр, 2000, ч. 1, гл. III). Первая из них – стадия префигурации опыта (мимесис-I) уже упомянута выше. Вторая, стадия конфигурации (мимесис-II), связана с построением интриги, то есть собственно с выстраиванием нарративной структуры. Это ключевая стадия, предполагающая одновременно разрыв с непосредственностью опыта и создание новой связности с опорой на элементы, наделяемые новым значением. Так выделение временного промежутка, например, дня, порывает с непрерывностью времени, которую можно увидеть, допустим, в течении реки, но выстраивает новую связность на основе наделения новым значением восхода и захода солнца. Точно так же выделение исторического периода требует порвать с непрерывностью социальной жизни, но наделить значением начала и конца определенные события.

Третья стадия – рефигурация (мимесис-III) жизненного опыта, то есть, переобозначение явлений с учетом новых взаимосвязей, установленных в акте конфигурации (как это можно наблюдать, например, при отодвигании начала развития буржуазных отношений в глубь средних веков).

Первоначальная задача Рикёра при разработке концепции тройственного

28 Э. Ауэрбах. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб: Университетская книга, 2000.

мимесиса состояла в том, чтобы показать, как с помощью нарратива человек превращает наблюдаемые им изменения в «человеческое время», то есть, доступное пониманию. Но взгляды Рикёра на роль нарратива эволюционировали по мере его обращения к более широкому кругу тем, связанных с социальным действием. Рикёр переносит акцент с конфигурирующих свойств нарратива и связанной с ними функции разрыва на то, что связывает текст с действием. Ввиду неустранимости временного аспекта в мире и в собственной деятельности человека, Рикёр переносит категории мимесиса на все сферы действия и его репрезентаций: «Но на чем скрещиваются референция по следам и метафорическая референция, если не на временности человеческого действия?» [Рикёр, 2000, с. 101].

Таким образом, можно сказать, что Рикёр обосновывает третий вариант ответа на вопрос о том, откуда берется смысл нарратива. Этот вариант диалектически объединяет две альтернативы (традиционный для Рикёра метод синтеза): смысл нарратива это постоянное напряжение между миром практики и его символической репрезентацией, в которой участвуют как минимум язык, культура и сознание. Это напряжение создается в процессе перехода от мимесис-I к мимесис-III через мимесис-II. В рамках такого подхода снимается указанная выше оппозиция между нарративом и исторической реальностью: «Скажут, возможно, что это жизнь, предположительно имеющая форму истории, сообщает силу истины рассказу как таковому. Но жизнь – не история, и приобретает она эту форму лишь в той мере, в какой мы ей ее придаем» [Рикёр, 2004. с. 339]. Таким образом, Рикёр, как и многие другие авторы убежден, что смысл событий, как и сами эти события, устанавливается, артикулируется посредством нарратива.

2.3.3. Проблема произвольности смысла нарратива

Хотя Рикёр и прорывает изоляцию исторического текста от реальности, утверждаемую Р. Бартом, это еще не решает проблемы конструирования общего

смысла нарратива. Разрыв, обозначаемый актом конфигурации, может оказаться слишком большим, а воображение, выстраивающее интригу слишком «продуктивным». Еще одна претензия к нарративу может быть обозначена как «чрезмерное увлечение метафорическими конструкциями нарративов в ущерб реальным событиям, свершившимся в недавнем и далеком прошлом» [Борисенкова, 2010. с. 332].

Еще до распространения категории нарративности на историю Ханна Арендт описывала эту проблему в иных терминах. В эссе «Понятие истории» она писала, что события в истории потеряли самостоятельную ценность, но стали лишь частью процессов. Арендт противопоставляет интерес древних греков к поступку, к отдельному событию («великим и удивления достойным деяниям») ренессансному интересу к процессам, которые включали в себя вещи в природе и события в истории. Это было связано с развитием естествознания, переходом от созерцания к деятельности, для осуществления которой необходим ответ на вопрос «как?», и другими факторами [см. Арендт, 2014. сс. 78-83]. Само по себе открытие цепочек явлений, связанных между собой причинно-следственной связью, то есть процессов, дало колоссальный толчок развитию всех наук. Понятие процесса избавило человечество от чувства «безотрадной случайности» (Кант), которое начало преследовать его, по мере секуляризации сознания. Затем, как полагает Арендт, Кант выступил против этой «безотрадной случайности», заметив, что «стоит посмотреть на историю в ее полноте, а не просто на отдельные события и неизменно обманутые человеческие намерения, как все неожиданно приобретает смысл» [Там же, С. 125]. Такое понимание истории помогло придать смысл политической сфере, которого та оказалась лишена по мере отделения ее от религии, но этот путь был чреват и серьезными проблемами.

Те опасности, которые Ханна Арендт видит в господстве процесса, сегодня можно проанализировать с точки зрения понимания истории как нарратива, то есть, исключительно как целого, в котором заключен общий смысл, в силу которого становятся постигаемыми отдельные события.

Примером неадекватности суждений о событиях исключительно с точки зрения процесса в целом может служить оценка такого факта, как политические репрессии в Советском Союзе. Сколько возможностей, как для оправдания, так и для осуждения, дает включение этого явления в процесс, в цепочку событий. Было ли это необходимо для победы над фашизмом? Было ли это необходимо для создания в СССР индустриальной промышленности, которая, к слову сказать, обеспечивала экономику страны вплоть до 90-х годов? За всем этим легко потерять из виду конкретный и уже ни кем не оспариваемый факт массовой гибели людей. Будучи включенным в процесс, он вдруг теряет собственное ужасающее значение. Тем более невозможно дать однозначную оценку таким событиям, как Великая Октябрьская революция, которая так же является Великой Революцией, только как часть процесса построения бесклассового общества, а будучи рассмотренной как самостоятельное событие, может оказаться просто переворотом и вооруженным захватом власти.

Но помимо неадекватности оценок исключительно с позиций целого есть и другие следствия понимания истории исключительно как процесса. Первым следствием стала утрата самого понятия о смысле исторического процесса, вернее, низведение его до цели развития. То есть, любой процесс подразумевает цель, достижение которой является частью самого процесса. Но кроме этого, любой процесс требует наличия смысла, и смысл этот должен лежать вне процесса, это то, «ради чего» весь этот процесс затеян. По мнению Арндт, этот смысл и был утерян на протяжении формирования современного понятия истории, начиная с конца 18 века. Различные учения предлагали свои «рукотворные» цели, постулируя идеи вроде всеобщего благосостояния или построения бесклассового общества. Эта цель сливалась со смыслом, то есть, как писала Арндт, попытавшись установить на земле Рай, который раньше был за пределами земной жизни, Маркс «сделал гегелевский смысл истории – поступательное развертывание и актуализацию идеи свободы – целью человеческого действия» [Там же, с. 120]. Случилось это потому, что если процесс является главной составляющей истории, то и цель как его

кульминация становится доминирующей в нашей оценке, и тогда по достижении этой цели лучшее, что могло бы сделать человечество со своей историей – это забыть «все это безрадостное приключение, единственной целью которого была самоликвидация» [Там же, с. 122]. Что оставалось бы такому обществу в качестве цели и отождествленного с ней смысла? Поддержание собственного существования ради поддержания существования? Но это и есть бессмысленность, потому так или иначе, придется задавать все тот же вопрос «Ради чего?»

Второй аспект этой проблемы состоит в том, что в какой-то момент человечество распознано за уловками природы, которые, как полагал Кант, придавали осмысленность череде человеческих действий, козни человеческого разума. Оказалось, что «путеводная нить разума» слишком произвольна, что мы можем наложить любую произвольную схему на любой данный набор событий. Но главная проблема состоит даже не в этом. Главный удар «наносит нечто другое: мы не просто можем это (наличие смысла) доказать в смысле согласованной дедукции, но можем к тому же взять практически любую гипотезу и действовать исходя из нее. Результаты будут не просто иметь смысл, но и работать в действительности» [Там же, с. 133]. Логически это приводит к тому, что практически все становится возможным не только в сфере теории, но и в сфере реальности.

К подобным убеждениям Ханну Арендт привели ее исследования тоталитарных режимов. Если принять некое исходное утверждение, то из всех возможных фактов всегда можно найти некоторое количество таких, которые будут его подтверждать. Или можно предложить такие правила интерпретации, которые позволят увидеть в этих фактах подтверждение исходной установки. Это утверждение может не иметь ничего общего с реальностью и имеющимися данными, но если начать действовать в соответствии с ним, тогда «в процессе действия, если оно внутренне согласовано, будет создаваться такой мир, в котором предпосылка станет аксиоматической и самоочевидной» [Там же, с. 134]. Яркими примерами такой логики действий для Арендт являются

нацистская Германия и советская Россия, но очевидно, что таких ситуаций в истории человечества намного больше, и по сути, любую религию, а вероятно и всю человеческую культуру, можно представить таким образом: крестовые походы, человеческие жертвоприношения ацтеков, демократические процедуры – все это в некотором смысле результат того, что люди приняли некие установки о мире и начали действовать исходя из них. Но тогда получается, с точки зрения неумолимой логики, если любая внутренне согласованная схема подходит для преобразования реальности, то само разделение осмысленного и бессмысленного теряет смысл.

Мысль Арендт не обращена против идеи процесса, как это может показаться. Наоборот, генеалогическое или причинное мышление – это большое достижение человечества. Ее рассуждения направлены в первую очередь против того, что «мы мыслим и рассматриваем все сквозь призму процессов и не интересуемся единичными сущностями или отдельными событиями и их особыми, обособленными причинами» [Там же, с. 93]. То есть, в «корпускулярно-волновой» диалектике события и процесса необходимо помнить об обоих этих составляющих и ни одну не упускать из виду.

Проблемы, обозначенные Ханной Арендт тесно связаны с вопросом о достоверности нарративов, хотя она и не использует таких понятий. Но эти проблемы легко переформулировать в терминах нарративности благодаря структуре деятельности (о взаимосвязи действия и его нарративной репрезентации сказано в параграфе 2.1.3). Любая деятельность должна включать цель или мотив (завязку), что является образом результата (финала). Чтобы быть осмысленной, деятельности недостаточно вообще иметь цель, но эта цель должна иметь значение для чего-то еще. Это значение может определяться или ролью достигнутой цели в каком-то другом процессе, или реализацией каких-либо предельных ценностей. Таким образом, вопрос адекватной постановки целей – это вопрос адекватной оценки текущей ситуации, основанной на достоверном представлении о прошлом.

Таким же образом наделяются значением исторические события и явления, поэтому при написании исторического повествования приходится иметь ввиду общий смысл истории. Сегодня такое наделение смыслом исторического процесса в целом получило название «больших нарративов» или метанарративов. Хотя вопрос об их деконструкции уже неоднократно обсуждался, сегодня намечается тенденция возвращения метанарратива. Но можно ли найти какие-то формальные или содержательные признаки, позволяющие отличить установки, несущие гибель и разрушение от ведущих к прогрессу и развитию?

Поиск противоядия от обозначенного Арндт ослепления глобальными мифическими целями в ущерб самой жизни, хотя не всегда так четкоотрефлексируемый, беспокоил ученых, особенно, связанных с науками об обществе. Это заставило их обратиться в первую очередь к человеку, к уникальности и ценности самой человеческой жизни. И Поль Рикёр, в том числе, выстраивал такую теорию социальной реальности, которая бы проявила все ступени перехода от отдельного человека к социальным структурам и оформляющие этот переход институты. Он не устал подчеркивать, что у основания всех этих структур стоит человек. История, как наука об изменениях, охватывает всю сферу изучения социальной реальности, но это в первую очередь «наука о людях во времени». Начиная с более ранних работ, он писал, что «именно рефлексия убеждает нас, что *объект* истории – это сам человеческий *субъект*» [Рикёр, 2002. с. 57].

В поздних работах, таких как «Память, история, забвение» и «Путь признания», эта мысль была раскрыта максимально широко: именно «соотнесение с человеческой реальностью как социальной данностью» позволяет оставаться в рациональном поле, «не соскальзывая в область вымысла», несмотря на неизбежность участия воображения в построении объяснительных моделей [Рикёр, 2004. с. 347]. Здесь стоит вспомнить о том значении, которое придается понятию следа в концепции Рикёра, и, возможно, что ментальный и кортикальный аспект играют в этом случае даже большую

роль, чем документальный аспект. Взаимоотношения истории и памяти также охраняют в первую очередь человеческое измерение глобальных построений.

Очевидно, что второй аспект проблемы, обозначенный Арендт, – неразличимость осмысленных и бессмысленных нарративов – вытекает из первой проблемы – внесение смысла нарратива внутрь его действия и отождествление его с целью. Поскольку именно соответствие внешнему критерию, тому, «ради чего», может помочь различить осмысленные и бессмысленные нарративы. То есть, для решения этой проблемы необходимо снова разделить цели и смысл развития и существования человечества.

Приходится признать, что внутри самого нарратива, при наличии внутренней согласованности, отсутствуют критерии различения осмысленных и бессмысленных нарративов. Тем не менее, решение проблемы вполне вписывается в рамки нарративной теории и ставит вопрос о соотношении текста и контекста, но уже не только применительно к историческому источнику, но и к тексту историка. Также в этих рамках снова актуализируется вопрос о метанарративе в истории, поскольку конструирование/осознание смысла тесно связано с нарративными структурами. Следует отметить, что уже само понимание искусственности задаваемых целей и связанных с ними исходных установок может служить предохранителем от разрушительного действия некоторых из них.

Таким образом, автор полагает, что сказанное выше показывает, что концепция Рикёра включает такие положения, которые, будучи приняты во внимание и соблюдены на практике, успешно противостоят критике нарративистской теории истории и позволяют избежать опасностей, описанных Ханной Арендт. Во-первых, Рикёр утверждает тесную связь между отдельными сущностями и событиями и построением осмысленного нарратива в целом, которая реализуется, как уже было сказано, в миметическом круге. Во-вторых, в его концепции выстраивается человеческое измерение всех глобальных построений, на что нацеленно и тесное сотрудничество истории и памяти.

Однако наиболее важным «предохранителем» в концепции Рикёра является понятие дистанции, которое уже многократно рассматривалось в данной работе. Было рассмотрено, как дистанция позволяет маркировать подлинные воспоминания в отличие от вымышленных, как память переносит ее в сферу истории и как преодолевает. Теперь обратим внимание на то, как дистанция работает в сфере истории.

2.3.4. Функция разрыва. Репрезентирование.

Невозможность обнаружить внутри самого нарратива критерии различения достоверных и недостоверных построений имеет причиной онтологический разрыв, который берет свое начало еще в противопоставлении «начинать-продолжать», в восприятии, в феноменах памяти (см. 1.1). В сфере человеческой деятельности разрыв совершается при переходе от жизни, пребывающей в непрерывном становлении, к завершённому акту действия. Далее он проходит через письмо и переходит в ту самую лауну между практикой и письмом, о которой уже говорилось выше (2.3.1). Будучи заключенной в нарратив, живая, содержащая в себе множество потенциалов социальная реальность, как под взглядом Медузы-Горгоны превращается в каменную неподвижность одной актуализованной интерпретации²⁹. Рикёр обозначает это следующим образом: «тенденция к завершению, свойственная акту включения в интригу, служит препятствием к внелингвистическому, внетекстуальному, одним словом, референциальному, импульсу» [Рикёр, 2004. с. 347]. Разрыв между нарративом и действием, между настоящим и прошлым, между знаком и его референтом – это все один и тот же разрыв. Настоящее выступает как «знак», означающий весь пройденный к этому моменту путь, который, тем не менее, еще не окончен.

29 В XX веке литература находилась в поиске новых способов передачи бесконечного многообразия бытия и значительно в этом преуспела: от «открытого финала» и литературы абсурда до произвольного порядка чтения и множественности миров. Однако вопрос о соотношении этих миметических приемов с нарративной формой остается за пределами данной работы.

Отражение мира во времени и в действии при помощи нарративных конструкций, очевидно, не есть реальный мир. Хотя для человека, который действует исходя из принятого им понимания, это вполне реальный мир, поэтому так велико искушение этот разрыв проигнорировать. Стремление забыть о разрыве – не просто результат забывчивости или самоуверенности, это механизм, который дает нам возможность действовать. Если мы всегда будем думать только о том, что все может оказаться не таким, как мы полагаем, то нам не будет хватать уверенности для следующего шага. Поэтому оказывается так велика роль убеждающих средств, фигур речи и всего того, что Барт называл «эффектом реальности» (Барт). Поэтому нарративная операция в историографической процедуре важна не только с точки зрения построения связности, но и с точки зрения литературного оформления, которое придает историческому тексту силу убедительности.

Функция разрыва осуществляется в акте конфигурации на стадии мимесис-II (см. 2.3.2.). До акта конфигурации мы имеем дело с данными окружающего мира, со следами и историческими документами, с картинкой, сложившейся в нашем сознании на основе физических сигналов, если речь идет о восприятии. Но после мы имеем дело только с собственным образом: с теми смыслами, которыми наделили увиденное, с теми связями между явлениями, которые мы уловили, и с нашей собственной интерпретацией значения событий и действий. В общем, с плодом нашего воображения.

Связующей нитью между двумя краями этого разрыва является историческая интенциональность, которую Рикёр определяет как «*направление/ощущение ноэтической нацеленности (le sens de la visée noétique)* создающей историческое качество истории»³⁰ [Ricoeur, 1983. p. 253]. Историческая интенциональность не есть только добрая воля историка, но Рикёр выстраивает цепочку переходных этапов или посредников (relais) между реальностью прошлого и ее представлением: следы, концепты, служащие

30 В переводе Т.В. Славко: «Под этим [исторической интенциональностью] я понимаю *смысл ноэтической направленности*, создающей историческое качество истории» [Рикёр, 2000. С. 208], однако с точки зрения семантики такой вариант перевода звучит бессмысленно.

операторами перехода³¹, тексты Эти посредники и есть действующие элементы историографической процедуры.

Снова можно подчеркнуть аналогию между этой цепочкой посредников и теми модусами памяти – Reminding, Reminiscing, Recognizing, – которые Рикёр выстраивал в феноменологии воспоминаний между полюсами принадлежности миру и принадлежности сознанию (см. параграф 1.1). Сам Рикёр не указывает на эту аналогию напрямую, но, очевидно, подразумевает ее, ставя вопрос о возможности «узнавания» в истории.

Вопрос об аналогии модусов памяти в истории уже рассматривался в параграфе 2.1.3. Теперь аналогия становится более конкретной при сопоставлении их с операциями историографической процедуры. Как и в случае с модусами памяти, цепочка посредников ведет историографию от следов, принадлежащих реальному материальному миру через усилия по восстановлению картины прошлого с помощью концептуальных схем и процедур причиновменения к целостному образу. Эта двойная связующая нить между реальностью и представлением о ней утверждает способность историографии, как и памяти, репрезентировать реальность. Однако вопрос о специфике узнавания в истории пока оставался в стороне, теперь же пришло время сказать и об этом.

Рикёр полагает, что функцию узнавания, то есть, удостоверение усилий по разысканию воспоминания, в истории выполняет понятие «репрезентирование» (representance). Это понятие Рикёр вводит уже в третьем томе книги «Время и рассказ» как «отношение между конструкциями истории и их *vis-à-vis*, а именно прошлым, одновременно упраздненным и сохраненным в своих следах» [Ricoeur, 1985. p. 149]. Позднее, в книге «Память, история, забвение» Рикёр рассматривает понятие репрезентирования в контексте историографической процедуры.

Что означает эта замена репрезентации, которая представляет собой образ,

31 Во «Времени и рассказе» Рикёр обозначает посредников между живой реальностью прошлого и рассказом как сконструированные историком сущности (нации, государства, общества), процедуры причиновменения и выделение временных отрезков (то есть, конструирование исторического времени). Там же он подробно характеризует их работу (см. Рикёр, 1998. С. 203-258).

уже полученный результат на модифицированный термин (введенный Рикёром неологизм), подразумевающий процесс, длительность, постоянную работу? Так Рикёр вносит в сферу истории выделенное им различие между пассивным характером отпечатка и активным, творческим характером *eikôn* и подчеркивает активный характер историографической операции, неустранимость дистанции. Но главное, понятие репрезентирования поддерживает интенциональную нацеленность, которая и превращает историю в научную наследницу памяти. Таким образом, репрезентирование «конденсирует в себе все ожидания, все требования и апории, связанные с тем, что принято называть интенцией или исторической интенциональностью: оно обозначает ожидание, связанное с историческим познанием конструкций, лежащих в основе реконструирования былого хода событий» [Ricoeur, 2000. p. 388].

В основе репрезентирования лежит процесс тройственного мимесиса, то есть, непрерывного подражания жизни, который заставляет нас постоянно перезаписывать исторический нарратив в соответствии с изменяющимися обстоятельствами и открывающимися новыми значениями. Интересно, что и здесь наблюдаются определенные параллели между данными нейронаук и философскими построениями Рикёра: «когда мы вызываем в памяти какое-то воспоминание (не имеет значения, насколько важное), мы выполняем больше работы, чем когда просто смотрим на фотографию в альбоме. Воскрешение событий в памяти – творческий процесс. По-видимому, наш мозг сохраняет только основу воспоминания. Когда мы вызываем его в памяти, основа проходит доработку и реконструкцию, в ходе которой в ней что-то пропадает, а что-то добавляется, что-то уточняется, а что-то искажается» [Кандель, 2012. сс. 405-406].

Из приведенных рассуждений видно, что здесь ставятся в один ряд способность человека вообще воспринимать окружающий мир (когнитивные способности), способность отдельных субъектов ориентироваться в жизненных ситуациях и способность историка описывать прошлые события. На параллельность двух последних ситуаций сам Рикёр указывал прямо «коль

скоро историк пишет историю, – не подражает (mimer) ли он творческим образом, возводя это на уровень научного дискурса, акту интерпретации, посредством которого те, кто делают историю, сами пытаются понять друг друга и свой мир?» [Рикёр, 2004. с. 323]

Мы полагаем, что введение, обоснование и разработка понятия репрезентирования является значительным вкладом Рикёра в развитие гуманитарной мысли вообще и теории истории в частности. В свете этого понятия споры вокруг возможности достоверного исторического познания, нарративности, злоупотребления прошлым могут быть направлены в более конструктивное русло, в котором может быть наконец найдена концепция истории, сочетающая приверженность истине с неустраимостью интерпретаций.

* * *

Итак, вырастая из памяти как основы человеческого опыта, наследуя от нее репрезентативную проблематику воссоздания в настоящем образа отсутствующего прошлого, нацеленность на прошлое, неустраимость временной дистанции и нарративной организации, история, тем не менее, обретает независимость от памяти. Порой вступая во взаимные противоречия, память и история вместе остаются хранительницами прошлого, но различного прошлого. Первая нуждается в уверенности, история же пребывает в вечном сомнении, которое нельзя ставить ей в вину, но которое является залогом ее претензии на достоверность.

«Фиксированное прошлое – это вовсе не то, что нам нужно, или, во всяком случае, не все, что нам нужно. Нам нужно такое наследие, с которым мы могли бы постоянно взаимодействовать, такое, в котором сливаются настоящее и прошлое» [Лоуэнталь, 2004. с. 618]. Можно сказать, что изменяющееся в процессе репрезентирования прошлое соответствует свободно выбираемому будущему. История это то, что творится в каждый конкретный момент, что

может быть избрано и изменено этим выбором. Историческая интенциональность, реализующаяся в процедурах историографической операции, служит залогом того, что процесс репрезентирования направлен именно на прошлые исторические события и заставляет историка вновь и вновь прилагать свои усилия для представления прошлого таким, *как* оно было когда-то «на самом деле».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своих трудах Поль Рикёр откликается на важнейшие проблемы современности, и в данной работе мы сконцентрировали внимание на мыслях французского философа по поводу проблемы достоверности исторического познания, и связанных с ней ситуаций злоупотребления памятью и историей. Анализируя взгляды Рикёра, следует подчеркнуть, что для разрешения этой проблемы он выстраивает широкий контекст, рассматривая и исследовательские процедуры историков, и способы функционирования истории в обществе, и даже шире, способы познания и отражения окружающего мира социальными агентами. Рикёр анализировал работу историка очень тщательно и глубоко, как будто рассматривая ее под микроскопом, постоянно подчеркивая взаимосвязь всех этих аспектов. Это отличает Рикёра от большинства исследователей, которые рассматривают отдельные исследовательские операции изолированно, независимо от остальных. Мы утверждаем, что важность вклада Рикёра в рассмотрение проблемы исторической достоверности определяется тем, что ему удалось рассмотреть работу историка в ее целостности, во взаимодействии всех операций, но главное – в тесной связи написания истории с социальной жизнью и с когнитивными способностями человека.

Отличительной чертой философии Рикёра является ее удивительная целостность. При рассмотрении концепции истории, сформировавшейся к концу творческого пути французского философа, становится очевидным, что она вбирает в себя его размышления о самых разнообразных и, зачастую, считающихся далекими от истории аспектах человеческой практики. Так, он увязывает в один узел проблемы этики поступка, литературного творчества и теории времени, соединяя их с вопросами исторического познания. Предложенная Рикёром в книге «Память, история, забвение», обобщающей его взгляды на историю, концепция, как мозаика долгие годы складывалась из его мыслей о временных аспектах человеческого бытия, о проблемах понимания

мира, об устройстве благой жизни людей с другими людьми и о том, что значит быть человеком.

В настоящем диссертационном исследовании мы ставили перед собой цель выявить основные положения концепции репрезентативного исторического познания в трудах П. Рикёра и в частности прояснить его обоснования претензий исторической науки на достоверность. Для реализации этой цели мы рассмотрели представления Рикёра о памяти как онтологическом основании исторического познания и выяснили, какие именно черты, наследуемые историей от памяти, позволяют ей осуществлять функции достоверной репрезентации прошлого.

Было выявлено, что именно история наследует от памяти, что позволяет ей обеспечивать достоверную репрезентацию прошлого человеческого опыта. Мы пришли к выводу, что в качестве основы матричных отношений между памятью и историей лежит отношение той и другой к проблематике репрезентации как «присутствия того, что отсутствует», которая берет свое начало в индивидуальной памяти. Далее история укоренена в свидетельствах, основанных на памяти, которые передают истории репрезентативный импульс последней. Проблематика разыскания воспоминания рефлексивной памятью вносит парадигму дистанции и усилия прояснению образа прошлого, тогда как событие, составляющее важное содержание памяти и истории определяет нарративную структуру последней.

В результате проделанной работы мы прояснили специфику взглядов Рикёра на взаимоотношения истории и памяти, соперничество и взаимная дополнительность между которыми позволяет обеим эффективно выполнять функции достоверной репрезентации прошлого. Здесь заслуга Рикёра состоит в том, что благодаря его исследованиям субъективный опыт и объективный анализ уже не считаются несоединимыми, они дополняют друг друга. Однако в сфере исторического познания репрезентации прошлого имеют свою специфику, которая состоит в соединении достоверности свидетельства, критических процедур их проверки и нарративной формы, выполняющей

объясняющие и визирующие функции.

В данном диссертационном исследовании произведена экспликация репрезентативной проблематики в области памяти и приведена интерпретация взглядов Рикёра по поводу переноса взаимоотношений «чистого воспоминания» и воспоминания-образа в область истории. Мы полагаем, что трансформация «чистого воспоминания» как пассивного запечатлевания в осмысленный образ, являющийся результатом активной деятельности субъекта, позволяет увидеть параллельность процессов восприятия и сохранения воспринятого в качестве воспоминания и процессов коллективного осмысления социального опыта групп и обществ.

Взгляды Рикёра были рассмотрены в контексте не только гуманитарных, но естественно-научных знаний, в частности, вопросы памяти рассматриваются в контексте современных достижений когнитивной нейронауки. На основании такого рассмотрения можно сказать, что, несмотря на то, что Рикёр неуклонно остается в поле философии, его взгляды согласуются с достижениями естественных наук.

Исходя из всего вышесказанного, мы полагаем, что важное значение взглядов Рикёра состоит еще и в том, что его концепция позволяет вывести историю в поле когнитивных наук, что в свою очередь, может иметь серьезные последствия не только для самой истории, но и для гуманитарных наук в целом. Рассмотренная здесь концепция позволяет выдвинуть гипотезу о том, что рассмотрение истории как когнитивной науки может существенно изменить наше представление о мире и процессе познания, однако этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

Во введении к данной работе одна из важнейших задач исторической науки, обусловившая актуальность данного исследования была обозначена следующим образом: «сохранение за ремеслом историка достойного общественного статуса невозможно без осмысления всех последствий "методологических поворотов", создания новых теоретических моделей и восстановления синтезирующего потенциала исторического знания на новом

уровне» [Репина, 2011. с. 134]. Мы полагаем, что концепция Рикёра предлагает такие теоретические основания истории, которые позволяют если не осуществить задачу «восстановления синтезирующего потенциала» истории, то сделать большой шаг в ее направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Августин Аврелий Исповедь. // Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. – М.: Республика, 1992. – 336 с.
2. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 496 с.
3. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: семантический анализ языка историков. – М.: Идея-Пресс, 2003. – 360 с.
4. Арндт Х. Между прошлым и будущим. – М.: Издательство Института Гайдара, 2014. – 416 с.
5. Арьес Ф. Время истории. – М.: ОГИ, 2011. – 304 с.
6. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
7. Балабан П.М. Хранение памяти. [электронный ресурс] // Постнаука 14.07.2014, URL: <https://postnauka.ru/video/27845>
8. Барг М.Я. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М.: Мысль, 1987. – 348 с.
9. Барт Р. Дискурс истории // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. – С. 427-441.
10. Бахтин. М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. – 424 с.
11. Бенвенист Э. Аналитическая философия и язык // Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., «Прогресс», 1974. – 446 с.
12. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., «Медиум», 1995. – 323 с.
13. Бергсон А. Интеллектуальное усилие // Собр. соч. в 5 т. /А. Бергсон – т. 4. СПб.: М.И. Семенов, 1914. С. 141-189.
14. Бергсон А. Материя и память. // Собр. соч. в 4-х томах. / А. Бергсон – Т. 1. М.: Московский клуб, 1992. – 336 с.
15. Бёрк П. Перформативный поворот в современной историографии. //

- Одиссей: человек в истории. – М.: Наука, 2008. – С. 337-354.
16. Блауберг И.И. О памяти и забвении П. Рикёр и А. Бергсон // Поль Рикёр – философ диалога. – М.: ИФРАН, 2008. – С. 60 – 75.
17. Блауберг И.И. Поль Рикёр и рефлексивная философия: некоторые аспекты // Поль Рикёр: Человек – общество – цивилизация. Современная философия. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. – С. 76 – 94.
18. Блок М. Апология истории или ремесло историка / М. Блок. – М.: Наука, 1986. – 178 с.
19. Бойцов М.А. Вперед к Геродоту! // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории – М.: Изд-во РГГУ, 1999. – С. 17-41.
20. Борисенкова А.В. Теория повествования Поля Рикёра: от нарративной организации опыта к нарративным основаниям научного знания // Социологическое обозрение. 2007. – Т.6. – № 1. – С. 55-63.
21. Борисенкова А.В. Нарративный поворот и его проблемы (Обзор публикаций по нарратологии) // Новое литературное обозрение № 3 (103). М., 2010.
22. Борхес Х.С. Фунес, чудо памяти // Собр. соч. в 4-х т. / Х.Л. Борхес – Т. 2 Новые расследования: Произведения 1942 - 1969 гг. – СПб.: Амфора, 2000. – С. 148-156.
23. Вдовина И.С. П. Рикёр: проблема субъекта интерпретации // Концепции человека в современной западной философии. М, 1988. – С. 43-57.
24. Вдовина И.С. Феноменолого-герменевтическая методология анализа произведений искусства // Эстетические исследования: методы и критерии. – М.: ИФРАН, 1996. – С. 124-143.
25. Вдовина И.С. Поль Рикёр // Философы двадцатого века. Книга первая. – М.: Издательство «Искусство XXI век», 2004. – С. 224-245.
26. Вдовина И.С. Памяти Поля Рикёра // Вопросы философии. – 2005. № 11. – С. 44-63.
27. Вдовина И.С. Поль Рикер: герменевтический подход к истории философии // Поль Рикер – философ диалога. – М.: ИФРАН, 2008. – С. 24-59.

28. Вдовина И.С. Феноменология во Франции. Историко-философские очерки. – М.: Канон+, 2009. – 400 с.
29. Вдовина И.С. Словарь Поля Рикёра (часть 2) // Философские науки. – М. Гуманитарий, 2012, № 2. – С. 103-118
30. Вжозек В. Культура и историческая истина / В. Вжозек. – М.: Кругъ, 2012 – 336 с.
31. Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // К. Гинзбург Мифы-эмблемы-приметы: Морфология истории. – М.: Новое издательство 2004. – 348 с.
32. Гинзбург К. «Репрезентация: слово, идея, вещь» // Новое литературное обозрение – 1998, № 33.
33. Гренье Ж.-И. Размышления о «критическом повороте» // Одиссей. Человек в истории. – М.: ИВИ, 2005. – С. 138-151
34. Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках метода // Одиссей. Человек в истории. – М.: ИВИ, 1996. – С. 5-11.
35. Гуревич А. Я. Территория историка // Одиссей. Человек в истории. – М.: ИВИ, 1996. – С. 81-110.
36. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов» – М.: Индрик, 1993. – 319 с.
37. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Гуссерль Э. Собр. соч. Т. 1. – М.: Гнозис, 1994. – 102 с.
38. Данто А. Аналитическая философия истории. – М: Идея-Пресс, 2002. – 292 с.
39. Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. – М.: ПЕР СЭ , 2000. – 351.
40. Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2010. – 400 с.
41. Зидер Р. Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении "социального" // Thesis. 1993. Вып. 1. – С. 163-181.
42. Зотов А.Ф. Поиски синтеза: Поль Рикер // Современная западная

- философия. – М.: Высш. шк., 2004. – 784 с.
43. История через личность: историческая биография сегодня. / Под ред. Л. П. Репиной. – М.: Кругъ, 2005. – 715 с.
44. Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / под ред. Л.П. Репиной. – М.:Издательство ЛКИ, 2012. – 608 с.
45. Как мы пишем историю? / под ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. Пименовой – М.: РОССПЕН, 2015. – 456 с.
46. Калимонов И.К. Теоретические проблемы исторического познания в творчестве Поля Рикёра // *Clio Moderna*. Зарубежная история и историография: сборник научных статей. Вып. 5. Казань: Мастер Лайн, 2005.
47. Кандель Э. В поисках памяти. Возникновение новой науки о человеческой психике. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 736 с.
48. К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной западной исторической мысли. / Под ред. Б.Г. Могильницкого – Томск: Издательство Томского университета, 1994. – 226 с.
49. Кант И. Критика чистого разума. – М.: «Наука», 1999. – 655 с.
50. Коллингвуд Р. Идея истории. – М.: «Наука», 1980. – 486 с.
51. Корш Д. Сокрытый Бог. Неявная предпосылка философии Поля Рикёра // *Поль Рикёр: Человек – общество – цивилизация. Современная философия.* – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. – С. 119-133.
52. Красильников С.А. Право на «первородство»: историк против конъюнктуры [электронный ресурс] // *Гефтер*. 13.04.2016, URL: <http://gefter.ru/archive/17807>
53. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: «Институт экспериментальной социологии», Москва; Издательство «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург, 1998. – 160 с.
54. Лихачев Д. С. Без доказательств. – СПб.: БЛИЦ, 1996. – 160 с.
55. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 464 с.
56. Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. – СПб.: «Владимир Даль», 2004. –

- 624 с.
57. Мазюрель Э. Что может историк. Практика исторического исследования между ангажированностью и дистанцированием // Как мы пишем историю? / под ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. Пименовой – М.: РОССПЕН, 2015. – С. 414-446.
58. Малинова О. Ю. Конструирование смыслов: исследование символической политики в современной России. – М.: РАН ИНИОН, 2013а. – 420 с.
59. Малинова О. Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого и эволюция официальной символической политики в постсоветской России // Политическая концептология – Ростов-на-Дону. 2013б. № 1. С. 114 - 129.
60. Мегилл А. Историческая эпистемология. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. – 480 с.
61. Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории. – М.: РГГУ, 2008. – 358 с.
62. Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы. / Б. Г. Могильницкий, И. Ю. Николаева, С. В. Карагодина и др. ; Том. межрегион. ин-т обществ. наук и др. - Москва : Логос, 2005. - 186 с.
63. Мёдова А.А. Интрига времени: вслед за Рикёром и Августином // Поль Рикёр: Человек — общество — цивилизация. Современная философия. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. – С. 134-155.
64. Могильницкий Б.Г. Между объективизмом и релятивизмом: дискуссии в современной американской историографии // Новая и новейшая история. 1993 № 5. – С. 5-18.
65. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: Курс лекций. Вып. II: Становление новой исторической науки. – Томск: Издательство Томского университета, 2003. – 178 с.
66. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Вып. III: Историографическая революция. – Томск: Издательство Томского университета, 2008. – 554 с.
67. Нуркова В.В., Василевская К.Н. Автобиографическая память в трудной

- жизненной ситуации: новые феномены // Вопросы психологии. 2003. № 5. – С. 93 - 103.
68. Оболенская С. В. «История повседневности» в современной историографии ФРГ // Одиссей. Человек в истории. – М. 1990. – С. 182-198.
69. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике, вып. XVII Теория речевых актов. – М., «Прогресс», 1986. – С. 22-130.
70. Петров Н. «Это и называется люстрацией», интервью [электронный ресурс] // «Медуза», 14 апр. 2015. URL: <https://meduza.io/feature/2015/04/14/eto-i-nazyvaetsya-lyustratsiey>
71. Петровская Е.В. «Великая нарратология» (размышления о книге Рикёра «Время и рассказ» // Поль Рикёр – философ диалога. – М.: ИФРАН., 2008. – С. 76-92.
72. Поль Рикёр философ диалога. / Под ред. И.И. Блауберг. – М.: ИФРАН, 2008. – 143 с.
73. Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории – М.: Наука, 1996. – С. 110-127.
74. Ревель Ж. История и социальные науки во Франции. На примере эволюции школы «Анналов» // Новая и новейшая история. 1998, №№ 5, 6.
75. Репина Л.П. I. Память и историописание // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / под ред. Л.П. Репиной – М.: Круг, 2006. – С. 19-46.
76. Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. – М.: Издательство ЛКИ, 2009. – 320 с.
77. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. – М.: Круг, 2011. – 560 с.
78. Рикёр, П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. – 1989. № 2. – С. 41-50
79. Рикёр, П. Живая метафора // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 435-455.
80. Рикёр, П. Метафорический процесс как познание, воображение и

- ощущение // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – С. 416-434.
81. Рикёр, П. Какого рода высказывания о человеке могут принадлежать философии // О человеческом в человеке. – М., 1991. – С. 40-59.
82. Рикёр, П. Существование и герменевтика // Феномен человека. Антология. М.: Гиль-Эстель, 1993. – 240 с.
83. Рикёр, П. Творческие возможности языка // Керни Р. Диалоги о Европе. – М.: Право, 1995.
84. Рикёр, П. Введение к «Идеям I» Гуссерля // Феноменология искусства.- М.: ИФРАН, 1996.
85. Рикёр, П. Кант и Гуссерль // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск: Водолей, 1998. – 320 с.
86. Рикёр П. Время и рассказ Т.1. Интрига и исторический рассказ – М.-СПб.: Университетская книга, 2000. – 313 с.
87. Рикёр П. Время и рассказ Т.2. Конфигурации в вымышленном рассказе – М.-СПб.: Университетская книга, 2001. – 224 с.
88. Рикёр, П. Человек способный // Новая философская энциклопедия. Т. IV. – М.: Мысль, 2001. – С. 346-348.
89. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: «Academia-Центр», 2002а. – 415 с.
90. Рикёр История и истина. – СПб.: «Алетейя», 2002б. – 400 с.
91. Рикёр П. Память, история, забвение. – М., Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 с.
92. Рикёр, П. Справедливое. – М.: Гнозис, Логос, 2005. – 304 с.
93. Рикёр П. Я-сам как другой. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2008 а. – - 416 с.
94. Рикёр, П. Сопровождать жизнь до конца // Поль Рикёр – философ диалога. – М.: ИФРАН, 2008 б. – С. 134-139.
95. Рикёр П. Модель текста: осмысленное действие как текст // Социологическое обозрение. 2008 в. Т. 7. № 1. – С. 25-43.
96. Рикёр П. Что меня занимает последние 30 лет // Поль Рикёр в Москве. –

- М.: Канон+, 2013. – С. 23-48.
97. Савельева И.М. Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 800 с.
98. Сартр Ж.-П. Воображаемое. – СПб: Наука, 2001. – 319 с.
99. Серто М. де Историографическая процедура // Неприкосновенный запас – № 95, М.: НЛО, 2014. – С. 49-67.
100. Соколов А.Б. Введение в современную западную историографию. – Ярославль : Яросл. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского, 2002. – 135 с.
101. Соколов Н.П. Медведев С.А. Мовчан А.А. Украденная победа. Выпуск передачи «Архелогия» от 06.05.2015 [электронный ресурс] // Радио «Свобода» режим доступа <http://www.svoboda.org/a/26996634.html>
102. Способы постижения прошлого: методология и теория исторической науки. / под ред. М.А. Кукарцевой. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2011. – 352 с.
103. Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. Материалы международной научной конференции. / отв. ред. Л. П. Репина – М.: ИВИ РАН, 2008 – 393 с.
104. Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
105. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М. : Весь мир, 2000. – 296 с.
106. Трубина Е.Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. – 106 с.
107. Трубина Е.Г. Нарратив // Современный философский словарь. – М., Академический проект, 2004. – С. 414-419.
108. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. – 528 с.
109. Фаликман М.В. Процессы и виды памяти [электронный ресурс] // «Постнаука» 12.11.2015. режим доступа: <https://postnauka.ru/video/54916>
110. Февр Л. Бои за историю. – М.: Наука, 1991. – 635 с.
111. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-сad,

1994. – 408 с.
112. Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad marginem, 1997. – 451 с.
113. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007. – 346 с.
114. Хапаева Д. Очарованные сталинизмом: массовое историческое сознание в преддверии выборов. // Неприкосновенный запас. – М.: 2007 № 5 (55). – С. 48-59.
115. Чернова Я.С. Медведев Н.В. Философская герменевтика Поля Рикёра: монография – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 139 с.
116. Шартье. Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения. // Одиссей М., Наука, 1995 – С. 192-205.
117. Шатин Ю. Исторический нарратив и мифология XX столетия // Критика и семиотика. – Новосибирск, 2002, № 5. – С. 21-43.
118. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб.: Symposium, 2004, – 538 с.
119. Эко У. Имя розы. – СПб.: Symposium, 2006. – 640 с.
120. Экштут С. А. Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории. – СПб.: Алетейя, 2003. – 319 с.
121. Яусс, Х. Р. Проблема диалогического понимания // Вопросы философии. – 1994. № 12. – С. 97-106.
122. Abel O. Lectures autour de Paul Ricoeur / O. Abel, E. Castelli-Gattinara, S. Loriga, et I. Ullern-Weite. Geneve, 2006.
123. Abel O., Porée J. Le vocabulaire de Paul Ricoeur. – Paris: Ellipses, 2007. – 97 p.
124. Bourgois P.L. Extension of Ricoeur's Hermeneutic / P.L. Bourgois. The Hague: Nijhoff, 1975.
125. Censo J. Di. Hermeneutics and Discourse of Truth. A Study in the Work of Heidegger, Gadamer and Ricoeur. – Charlotteville: Northwestern University Press, 1990.
126. Dosse F. Paul Ricœur. Les sens d'une vie. – P.: La Découverte, 2008. – 714 p.

127. Dosse F. Paul Ricœur, Michel de Certeau. Entre le dire et le faire, Paris, Cahiers de l'Herne, 2006.
128. Dosse F. Paul Ricœur et les sciences humaines. – P.: La Découverte, 2007. – 252 p.
129. Iggers G. A search for a post-postmodern theory of history // History and Theory – №48. February, 2009. – P. 122-128.
130. Carr E.H. What is History? – Penguin, 1990. – 208 P.
131. Carr D. History, Fiction and Human Time. // Symposium: History and the Limits of Interpretation. Rice University (USA). March 15-17. 1996. URL: <http://cohesion.rice.edu/humanities/csc/conferences>.
132. Casey E. S. Remembering. A Phenomenological Study, Bloomingtonet Indianapolis, Indiana University Press, 1987.
133. Constructing the Past: Essays in Historical Methodology. / edited by Jacques Le Goff and Pierre Nora. – Cambridge University Press, 1985. – 224 p.
134. Eco U. The Limit of Interpretation. – Indiana University Press, 1994. – 296 p.
135. Jablonka I. L'histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les science sociales. – P: Seuil, 2014. – 340 p.
136. Kearney R. On Paul Ricoeur: the Owl of Minerva. – Routledge, 2004. – 192 p.
137. Le Goff J. Mémoire et Histoire. – P.: Gallimard, 1988. – 416 p.
138. Le Roy Ladurie E. L'histoire immobile // Annales: Economies, Societes, Civilisations. – 1974, v.29, № 3, – p.673-692.
139. Novick. P. The Holocaust in American Life. – Boston, 1999. – 382 p.
140. Paul Ricoeur: les metamorphoses de la raison hermeneutique. Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle / sous la direction de Jeans Greish et Richard Kearny. – P.: Éditions du Cerf, 1991.
141. Paul Ricoeur and Narrative. Contexte and Contestation. – Calgary, 1997. – 233 p.
142. Paul Ricoeur and Contemporary Moral Thought. – Routledge, 2002.
143. Paul Ricoeur. – P.: Cahiers de l'Herne, 2004.

144. Paul Ricoeur et les sciences humaines. – P.: La Découverte, 2007. – 252 p.
145. Paul Ricoeur in the Age of Hermeneutical Reason: Poetics, Praxis, and Critique. / edit. by Roger W. H. Savage. – Lexington Books, 2015. – 232 p.
146. Pomian K. Histoire et fiction // Le Débat. 1989. № 54.
147. Prost A. Douze leçons sur l'histoire. Paris: Editions du Seuil, 1996; рус. перевод: Про А. Двенадцать уроков по истории. – М.: Изд-во РГГУ, 2000. – 336 с.
148. Reagan Ch. E. Paul Ricoeur: His Life and His Work. – Chicago: Chicago University Press, 1998. – 162 p.
149. Revel J. Au pied de la falaise : retour aux pratiques // Le Débat. 1999. № 103.
150. Ricoeur P. Temps et récit. tome 1 – Paris: Seuil, 1983. – 324 p.
151. Ricoeur P. Temps et récit. tome 3 – Paris: Seuil, 1985. – 432 p.
152. Ricoeur, P. Time and Narrative, 3 vols. – Chicago, London: Chicago University Press, 1988. – 356 p.
153. Ricoeur P. Entre mémoire et histoire // Projet. 1996. № 248.
154. Ricoeur P. La mémoire, l'histoire, l'oubli. – Paris: Seuil, 2000. – 682 p.
155. Ricoeur P. Memory, History, Forgetting. 2004. – Chicago, London: Chicago University Press, 2004. – 642 p.
156. Tentons l'expérience // Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1989, vol 44, № 6. – P. 1317-1323.
157. The Philosophy of Paul Ricoeur. / Ed. by L.E. Hahn. – Chicago, La Salle, 1995. – 846 p.
158. Todorov T. Les abus de la mémoire. – P.: Arléa, 1995. – 60 p.
159. Uggla B.K. Ricoeur, Hermeneutics and Globalization. – Continuum, 2010. – 152 p.
160. White H. Guilty of History? The Longue Durée of Paul Ricoeur. Memory, History, Forgetting by Paul Ricoeur. // History and Theory – Vol. 46, No. 2 (May, 2007) – P. 233-251.
161. Vincent, G., La religion de Ricoeur. – P. : L'Atelier, 2008. – 159 p.